

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ  
«КРАСНЫЕ ЦЕПИ» И «МОЛОТ ВЕДЬМ»



**Том 3**  
**ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ**  
**ВСЕГО**

**КОНСТАНТИН ОБРАЗЦОВ**

## Annotation

Автор бестселлера "Красные Цепи" предпринимает исследование тайн Мироздания. Великолепный многоплановый роман о человеческом выборе, влияющем на судьбы Земли: то, что начинается как детектив, превращается в научную фантастику, которая достигает степени религиозного мистицизма.

Трагическая смерть одного из авторитетных представителей преступного мира поначалу кажется самоубийством, а жуткие обстоятельства его гибели объясняются приступом внезапного сумасшествия. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше всплывает странностей, парадоксальных загадок и невероятных событий, а повествование постепенно охватывает пространство и время от Большого взрыва до современности...

---

- [Константин Образцов](#)
    - [Часть III](#)
      - [Глава 8](#)
      - [Глава 9](#)
      - [Глава 10](#)
      - [Глава 11](#)
      - [Глава 12](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
-

**Константин Образцов**  
**Единая теория всего. Том 3**

# **Часть III**

## **Антропный принцип**

## Глава 8

### Исходный код

Доводилось ли вам, дорогие друзья, возвращаться когда-либо в прошлое – то прошлое, что осталось только в детских воспоминаниях? Это захватывающая, но и опасная экспедиция, потому что многому дорогому и личному, трогательному и восхитительному, как весенний день в детстве – свивающиеся в бурный поток сверкающие ручейки меж ломких кромок талого льда, первые согревающие лучи повеселевшего солнца, отощавшие шальные коты, счастливый воздух, золотистый, как искрящийся лимонад, и тугой от весеннего ветра, рядом еще совсем молодая мама, и лет ей куда меньше, чем сейчас тебе, и всех забот разве что провести через талую лужу игрушечный пластмассовый трактор, не вымокнув при этом до самой вязаной шапки с помпоном – всему этому лучше оставаться в молчаливых запасниках памяти. Но и отказаться от подобного возвращения трудно. Давай, я покажу тебе дом, и двор, и площадку, где я был маленький? Конечно, это так интересно! И вот через несколько десятков лет ты приезжаешь туда – и смотришь уже совсем другими глазами.

Не беда, если что-то исчезло за прошедшие годы; хуже, что все осталось таким же – и все изменилось. Вот большие качели: на скошенных железных опорах металлический круг с двумя скамеечками напротив друг друга. Чем они только не были – поездом дальнего следования, космическим кораблем, боевой машиной, а по гладким наклонным столбам опор можно было вскарабкаться на самый верх, на ту головокругительную высоту, что доступна лишь самым отчаянным храбрецам, облаченным мамой в колготки и шорты. Ныне это нелепое, покосившееся сооружение, сиротливо возвышающееся посередине площадки; краска облупилась местами, и деревянные рейки сидений и пола провалились и выпали, в само сидение теперь вряд ли втиснешься, а верхушку можно накрыть ладонью, даже не вставая на цыпочки. На железе опор капли мертвой росы, седая печальная паутина растянулась в верхней части треугольного стального каркаса.

В едва заметной песочнице вместо песка какой-то курган из слипшейся желтой глины; бетонная горка в виде фантастического левиафана, сквозь круглый глаз которого так весело было лазать насквозь, наверное, вросла в землю, как древняя башня – иначе как она могла стать такой маленькой? Лавочки осиротели без давно ушедших в тихую вечность

старушек, а сама площадка, в границах которой легко помещался раньше целый фантастический мир, не нанесенный на карты, съезжилась и стопталась, будто пыльный изношенный половик. Бесприютно и пусто – на забытых площадках далекого детства всегда пусто, вы замечали? Еще и дождь начинается – моросит себе, будто сочатся слезы из старческих глаз: как я рад тебя видеть, дружок, ты вернулся! Простите, не узнаю... Ну как же: весна, и ручьи, и мама – это я, тот самый день, просто ты запомнил меня почему-то солнечным...

Мир детства наполнен преизбыточествующей любовью; мир взрослой жизни – куда каждый из нас вступает всегда раньше, чем того хочет – не любит никого вовсе, как угрюмый администратор, только и умеющий, что ежедневно ставить галочки в журнале посещений, пока не выведет напротив имени равнодушно “выбыл”.

И все это грустно, конечно, как вообще печальны ушедшие годы, но ради того сладко щемящего чувства, какое испытываешь, возвращаясь вдруг в те места, где прошло детство, ради трепетной горечи узнавания все же стоит хотя бы раз вернуться обратно. У меня даже дыхание перехватило, когда отец свернул в позабытую, но такую знакомую арку и въехал во двор дома на Лесном проспекте.

В белесом предрассветном тумане я увидел все разом: порыжевшая от времени монументальная рама футбольных ворот без сетки; огромный тополь с изборожденным почтенными морщинами могучим стволом – упрямо нагнулся, словно противостоял ветру времен; рядом с ним раньше теснились во множестве бывшие дровяные сараи, и с крыши крайнего, если посильней разбежаться и, главное, не трусить, можно было допрыгнуть до нижней извилистой ветки и повиснуть на ней с торжествующим воплем. Уже в мое время в сараях хранили вместо дров уголь для кочегарки, а теперь от них осталось только постепенно зарастающее упрямой жесткой травой широкое корявое поле; на нем прилепились друг к другу три гаража, вкривь и вкось сбитых из листового железа. Я посмотрел и прикинул: наверное, если хорошо оттолкнуться, с крыши крайнего левого все еще можно допрыгнуть до ветки тополя. В центре двора – коренастая кирпичная будка котельной; к ней с одной стороны вплотную пристроен одноэтажный приземистый блок старой прачечной, с другой в небо торчит высокая черная труба на залитой бетоном опоре, по которой мы выбирались на плоскую крышу, покрытую черным вязким гудроном. А вот пара ярких желтых качелей, разноцветная шведская стенка и железная горка в виде космической ракеты появились во дворе уже позже – в моем детстве нас такими изысканными развлечениями не баловали.

Этот дом был построен в 1930-м году – четырехэтажный, грязно-желтый, с большими окнами и такой длинный, что для путешествия от одного конца до другого требовались веские основания. Суровая простота той эпохи не предполагала излишеств и буржуазного украшения, только бескомпромиссные линии и углы: вытянутый прямоугольник фасада, квадраты окон, а внутри – прямые широкие коридоры квартир с девятью одинаковыми просторными комнатами, высокими потолками, огромной кухней и туалетом таким крошечным, словно он был вынужденной, но временной уступкой потребностям несовершенного еще человеческого естества. Кладовка и то была больше – в детстве она нам казалась заповедной пещерой, едва освещенной тусклой лампочкой под потолком, с грубо сколоченными полками вдоль стен, сплошь уставленными пыльными банками с закатанными овощами, пачками круп, спичек и соли, черной башней автомобильных покрышек в углу, подвешенными сетками с проросшим луком, землистыми мешками с картошкой, тяжелыми ящиками с грубым мужским инструментом, какими-то тусклыми железяками, похожими на запасные части для механических роботов, и занавесками из пожелтевших простыней, прикрывавшими огромные потертые чемоданы и мягкие тюки с вещами и скарбом, которые не разбирали едва ли не с самой войны; здесь пахло машинным маслом, землей, временем, пылью и тайной.

Наша квартира располагалась на втором этаже в центральной шестой парадной. Мы с родителями занимали две комнаты с окнами во двор слева от входной двери – для семьи из трех человек настоящая роскошь по тем временам, доставшаяся благодаря бабушке, которую я почти не запомнил. У меня с детства была своя комната, а потому все приятели-сверстники, которым повезло куда меньше, обычно толклись у меня, даже если меня самого не было дома. Например, Чечевицины – у них тоже имелось две комнаты по той же стороне коридора, но и детей в семье было четверо: старший Митька, мой ровесник, Лёнька на три года младше, а еще совсем мелкие Таня и Маня, которые обыкновенно забирались с куклами и игрушечными сервизами ко мне на кровать, пронзительным девчачьим визгом оберегая от любых посягательств эту samozахваченную территорию. Чечевицины были похожи друг на друга, как редко бывают схожи между собой даже братья и сестры: все с одинаково круглыми, добродушными физиономиями, причиной чему было, наверное, невероятное сходство Чечевица-старшего, работавшего машинистом на железной дороге, с его женой Зиной, ибо и отец, и достойная мать семейства тоже были круглолицыми, круглощековыми и румяными, будто яблоки «Джонатан». Две

комнаты Чечевициным дали лишь потому, что счастливый случай подарил им разнополых детей, и свою жилплощадь они тоже делили по гендерному признаку: отец с мальчишками размещались в одной комнате, где для сыновей была сколочена массивная двухъярусная кровать и стоял обеденный стол, позволявший считать эту мужскую обитель общей семейной гостиной, а мать с девочками – в другой, куда ход всем прочим заказан был крепче, чем кадетам – в пансион благородных девиц. Конечно, будучи многодетной семьёй, они стояли в льготной очереди на жилье, и каждое воскресенье ездили куда-нибудь на дальнюю окраину города посмотреть, как строится их будущий дом – полчаса на метро, а потом еще минут двадцать автобусом – но всё время что-то не складывалось, квартиры перераспределялись по воле засевшей в Исполкоме неприступной Фортуны, имевший свой взгляд на предмет, а Чечевициным обещали жилье в другом месте, как правило, еще дальше, и они снова всем своим неунывающим табором катались по выходным с надеждой смотреть на котлован или едва показавшийся из земли фундамент посреди голого пустыря.

Напротив Чечевициных жил Георгий Амиранович Деметрашвили: врач-хирург, человек редкой эрудиции, мудрости и обаяния, а еще подлинной интеллигентности – без брюзжания, высокомерия, и рефлексии, хотя сейчас с трудом верится, что такая разновидность ее существует. У него была жена Нина, женщина фантастической, какой-то величественной красоты, и сын Дато, мой ровесник – тот самый, что первым в школе сконструировал стреляющий спичечными головками пугач, ручную гранату из двух сжатых гайкой болтов с зарядом селитры, и который выжег смесью магния с марганцовкой на полу в моей комнате огромную черную дыру, долго и безуспешно скрываемую прикроватным ковриком.

Еще был дядя Валя Хоппер, что жил в комнате справа от входа – всегда модно одетый, пахнувший импортным одеколоном, работавший где-то, как говорили, «в торговле», и по такому случаю часто угощавший нас конфетами «Старт» и «Коровка», а то и дефицитными «Белочкой» или «Красным маком». Через коридор от родительской двери была комната дяди Яши, в звании прапорщика служившего водителем в воинской части, и его супруги, добрейшей тети Жени, которая заведовала дворовой прачечной, что давало жителям нашей квартиры решающее преимущество перед всем домом во время воскресных стирок. Детей у них не было, и по этому поводу им все сочувствовали, но виду не подавали, а они сами не подавали виду, что знают о том, что все им сочувствуют.

А еще была Люська, жившая с отцом-инвалидом в двух комнатах у

самой кухни.

Люська была старше и меня, и Митьки с Дато на десять лет. Это и так, прямо скажем, немало, а в детстве десяток лет составляют несколько геологических эпох, которые отделяли нас от нее непреодолимой пропастью, но в то же время делали, начиная с определенного возраста, томительно привлекательной. Одно из первых детских воспоминаний: воскресенье – в те времена, кстати, единственный выходной на неделе, – мама с соседками собрались в прачечной для большой стирки, мокрый пол в мозаичную мелкую плитку, валит пар, жарко, влажно, солнечные лучи лупят через узкие окна под потолком, с грохотом хлещет горячая вода из широких кранов, звенят голоса, рассыпается эхом смех, гремят жестяные корыта, трещат стиральные доски, пахнет мылом и мокрым бельем. Мне года четыре, и я сижу на крашеной деревянной скамеечке с леденцовым “петушком” в руке. Женщины то и дело целуют меня горячими и мокрыми от пара губами, у мамы на голове поверх толстых кос повязан широкий платок, тетя Нина Деметрашвили в длинном черном халате красивыми сильными руками мнет и отжимает белье, а Люська, которой уже целых четырнадцать, тоже здесь, и рано оформившаяся грудь ее тяжело колышется под пропитанной влагой сорочкой, а тренировочные штаны, закатанные до колен, самым бесстыдным образом обтягивают крупную попу и обнажают сверкающие белые икры.

Потом в прачечной поставили механические стиральные машины, а у нас дома появилась своя ванна, для которой выгородили место на кухне и прикрыли кое-как занавесочкой. Сколько мне было тогда? Наверное, уже лет восемь. Мы с Митькой Чечевициным и с Дато будто настоящие заговорщики караулили, когда Люська пойдет купаться, подкрадывались к дверям кухни и пытались подсматривать – хотя смотреть можно было разве что на смутный силуэт под струями душа за занавеской, надеясь, что вот-вот из-за ее краешка мелькнет вдруг голое тело. Люська, конечно, про эти забавы знала, ругалась на нас, нарочито смешно и громко, а мы дразнились в ответ, подначивая друг друга и прячась за дверным косяком. Кончилось это тем, что однажды она вдруг резко откинула занавеску и к неопишуемому нашему ужасу предстала во всем грозном великолепии своей наготы – так, верно, Актеон ужаснулся, узрев обнаженную Артемиду. Люська стояла, картинно нахмурившись и уперев руки в крутые бока, мокрые волосы разметались по круглым плечам, блестели от горячей воды и мыльной пены полные груди и бедра, а мы трое, хохоча и вопя от страха, в панике припустили по коридору к дверям, да так, что не остановились, пока не выбежали во двор и не укрылись за дровяными сараями, едва переводя дух

от бега, ужаса, стыда и смеха.

Весело было. Так бывает только в воспоминаниях детства: тебе хорошо, и кажется, что и все вокруг тоже счастливы: у взрослых настоящая, полезная людям работа, у тебя товарищей целый выводок – лучший друг Славка из третьей парадной, неугомонный Дато Деметрашвили, тихий и странный немного Ваня Каин с четвертого этажа, брата Чечевицины, и те из них, кто помладше, запросто донашивают за тобой штаны или рубаху без всяких неловкостей и стеснений. Вечером иногда можно посмотреть телевизор в комнате у дяди Вали, где, если показывали футбол или хороший фильм, собирались соседи даже с других этажей; в воскресенье на утоптанной площадке у футбольных ворот играть в «американку» или «квадрат», пока папа и дядя Яша с приятелями «забивают козла» за деревянным столом во дворе и пьют пиво, наливая его из бидона в большие граненые кружки. Можно забраться вместе с Ванькой Каином на чердак в его «штаб» из обломанных досок и смотреть, раскрыв рот, как он рисует черных рыцарей и жутковатых красавиц в причудливых острокрылых платьях; можно дразнить Люську и бегать от нее по двору, пока ей не надоест; можно отправиться в «прерии» – пустырь у железной дороги – и взрывать там карбид в бутылках с водой, или играть в индейцев с «ковбойцами», или подкладывать на рельсы длинные гвозди, радуясь, когда проходящий состав их удачно расплющит, чтобы потом выточить самодельные ножики. Да мало ли что еще можно.

А потом все как-то незаметно меняется – обычно, начиная с самого слабого звена в казавшейся такой прочной цепи счастливых безоблачных дней.

Отец Люски был самым старшим в нашей квартире. Он защищал Ленинград у Невской Дубровки, выжил в чудовищной мясорубке во время десанта на левый берег Невы, прошел всю войну, был дважды ранен, трижды награжден за личную храбрость боевыми орденами и медалями, а потом, уже весной сорок пятого, в Австрии, потерял ногу, подорвавшись на противопехотной mine. Дочь он воспитывал один: когда Люсе не было и трех лет, ее мать погибла от ножа уличного налетчика. Государство обеспечило овдовевшего героя двумя просторными комнатами и пенсией инвалида войны, но этого иногда маловато для счастья. Он был хороший мужик, добрый и рукодельник – помню, санки мне скотил и подбил полозья железом – но только когда не «закладывал за воротник», а это с ним случалось частенько. Ему удавалось довольно долго держаться, балансируя между состояниями «выпивает» и «пьет», но в девятнадцать лет Люська выскочила замуж – «за афериста», как говорили мама с

соседками, – выпорхнула из родного гнезда, и оставшийся в одиночестве родитель запил уже по-настоящему. В квартире сочувствовали, терпели и, чем могли, помогали в быту. Через два года Люська вернулась: уже совсем взрослой женщиной, какой-то измученной, всегда заведенной и недружелюбной; она проходила по коридору с пустым взглядом, ярко накрашенным ртом и едва здоровалась сквозь зубы со стиснутой в них сигаретой. «Покатилась по наклонной», – сетовали мама, тетя Женя, Зина Чечевицина и Нина Деметрашвили. Из двух комнат у кухни то и дело звучали скандальные крики и звон пустого стекла. Года через три Люська снова исчезла, отец ее окончательно потерял себя на дне бутылки, но закономерный финал этой драмы все досматривали уже без меня, да и без моих родителей.

В армию я ушел в 1974-ом, а в следующем году отцу, как “ребенку Блокады”, к тридцатилетию Победы вне очереди неожиданно дали отдельную квартиру в новом доме на Серебристом бульваре. Я, помню, узнал об этом из письма и очень обрадовался. И мама радовалась, и папа, конечно, тоже, потому что отдельная квартира означала, что теперь мы будем жить хорошо: собственный теплый клозет, ванна в отдельном помещении, а не на кухне, никаких дворовых посиделок за домино, на баяне никто не начнет наяривать в открытое среди ночи окно. Отдельная кухня, опять же – готовишь в одиночестве и ни с кем не болтаешь, слушаешь себе радио. Никто в двери не ломится, не лезет в гости без стука; честно говоря, вообще из соседей никто не приходит просто потому, что нет до тебя дела. Все заняты важным: ездят молча на службу и тащат в огражденные бетонными перегородками квадратные метры стенку, мягкую мебель и цветной телевизор, чтобы быть уж точно не хуже, чем все.

Отец с мамой принадлежали тому поколению, в котором ценили и берегли человеческие связи, и они не могли просто забыть и выбросить из жизни людей, с которыми два десятка лет прожили в одной квартире в горе и в радости, вместе растили детей и помогали друг другу. Странно и стыдно признаться, но что уж: я после армии не связывался ни с Митькой Чечевициным, ни с Дато, ни с Ваней Каином, хотя мы с ними и выросли вместе, и даже в одной школе учились. Как-то не собрался все, знаете, так бывает. А вот папа держал связь с соседями: созванивался он, правда, редко, и в основном с дядей Яшей, но открытки на праздники и к дням рождений они с мамой посылали на Лесной регулярно, и всегда получали такие же в ответ: старательно написанные от руки простые, сердечные строчки, отправленные по строгому графику, чтобы адресат получил их ровно в назначенный день. Я же только иногда узнавал от отца о новостях

из старой квартиры:

– Люськин отец умер, завтра хоронить едем с мамой.

– Валька Хоппер кооперативную квартиру купил, съехал. И еще комнату за собой оставил, какого-то родственника туда прописал, вот жук, а?

– Люська вернулась. Говорят, остепенилась вроде. Работает.

– Дядя Яша на пенсию вышел, звал отметить.

– У Амираныча жена умерла. Тетя Нина, помнишь ее? На поминки не хочешь съездить?

Но я не ездил – ни на дни рождения, ни на поминки, и даже не мог представить такого случая, который привел бы меня снова в дом на Лесном.

И вот, пожалуйста.

\* \* \*

Едва пропела знакомым скрипом дверь парадной, зазвенела, растягиваясь, пружина, едва я шагнул на лестницу, совершенно автоматически переступив выщербленную первую ступеньку, как уже защемило сердце, и я почувствовал себя мальчиком, который возвращается с папой домой после долгой отлучки.

Коротко задребезжал звонок. За двустворчатой деревянной дверью с цифрой «44» торопливо затопали тяжелые шаги, лязгнул засов, пахнуло горячим домашним духом, и вот в освещенном дверном проеме воздвигся богатырским абрисом дядя Яша и прищурился в сумрак. Коварное время, норовящее сжимать, уменьшать и усушивать воспоминания детства, перед ним спасовало, удовольствовавшись только тем, что проредило волосы на макушке: и без того всегда грузный и мощный, дядя Яша еще больше потолстел и заматерел, даже вырос как будто, и голос звучал так же зычно и трубно.

– Генка! – взревел он. – Генка, здорово!

И сгреб папу в охапку, норовя по обычаю расцеловать троекратно.

– А это кто? – чуть отпустив отца, воззрился на меня дядя Яша. – Неужели Витюха?! Ну и ну! Мужик вырос, смотри как! Я ведь тебя еще вот таким помню!

Он помахал толстым указательным пальцем, потом распахнул навстречу широкие, как пещера, пахучие мужские объятия и зарычал:

– Ну, иди сюда!

Мы обнялись так, что у меня хрустнула грудная клетка,

расплющившись о тугой обширный живот, обтянутый военной рубашкой навывпуск.

– Так чего стоим-то?! Идем, там уже все заждались!

– Яша, ну я же просил, без застолий, – заговорил отец, но тот уже увлекал нас с собой в прихожую, оглашая квартиру громогласным:

– Приехали!!!

В ответ на его клич из светящейся ярким и теплым светом кухни откликнулись радостной разноголосицей и металлическим громоханием.

– Давайте, давайте! – подгонял дядя Яша, пока мы с отцом стягивали ботинки у входа. Я быстро осматривался: вешалка та же, старая, на железных крючках синий болоньевый плащ, пустая авоська и скомканный женский зонтик; крашенный коричневый пол совсем поистерся, белая краска на дверях комнат уже пожелтела, как сливки, облупилась и шелушится, будто старая чешуя; а вот обои свежие, в мелкий желтый цветочек, и новый телефонный аппарат в коридоре теперь стоит на полочке, а не висит на стене, как раньше, пропал куда-то старый черный велосипед Чечевицина, зимой и летом стоявший у стены рядом с их комнатами, но я дома, да, несомненно – я дома.

Мы протопали по ставшему почему-то очень коротким коридору и остановились в дверном проеме кухни, словно не решаясь переступить порог прошлого, представшего перед нами ожившей и такой знакомой картиной: выкрашенные снизу зеленым и оштукатуренные сверху стены, железные раковины, огромная старая деревянная плита, превращенная в предмет кухонного гарнитура, отлетевшие плитки на выдавшем виды линолеуме, слева все та же ванна, прикрытая пёстренькой занавеской, столы празднично сдвинуты, две яркие лампочки без абажуров под потолком заставляют прищуриться после сумрачной прихожей, и завораживающий аромат свежей выпечки, от которого, как и раньше когда-то, в животе немедленно заурчало, а рот наполнился голодной слюной.

– Ну, здравствуйте, здравствуйте!

– Ой, Витенька, не узнать!

– Гена, наконец-то! Привет!

Ночь едва передала свою вахту раннему сонливому утру, но никто из соседей и не думал спать, все были здесь: чуть располневшая и все такая же хлопотливая тетя Женя с раскрасневшимся от жаркой плиты и волнения лицом, торопливо вытирающая руки фартуком; и пухлый, уже с обширной розовой плешью, но по-прежнему румяный Чечевицин с женой Зиной; и какой-то волосатый долговязый юнец с жидкими усиками, в котором я с трудом признал Лёньку Чечевицина; и Георгий Амиранович

Деметрашвили, отпустивший седую бороду, импозантный, в красивой полосатой рубашке и с мудрым ироничным прищуром:

– Гамарджоба, биджо! Ругу рахар?

– Гамарджоба, Георгий Амиранович! Каргат, каргат! Ще ругу рахар?<sup>[1]</sup>

– ответил я, радостно удивляясь тому, как легко вспомнил те немногие слова на грузинском, что выучил так давно, казалось, что в другой жизни.

– Витюша! Ну, здравствуй, Витюша!

Конечно, и Люська была тоже здесь: годы не были к ней снисходительны, оставив от юности длинные стройные ноги с тоненькими лодыжками, но наградив расплывшейся талией с изобильными складками на боках и усталостью, обосновавшейся в морщинках вокруг глаз. Она обняла меня, клюнула в щеку теплыми губами, и было так странно, что для этого ей пришлось встать на цыпочки.

– Привет...эээ...Людмила, – сказал я смущенно.

– Да какая я тебе Людмила! – она расхохоталась и хлопнула меня ладошкой по груди. – Люся я, Люся!

И чуть покосилась насмешливо в сторону знаменитой ванны, так что мне немедленно захотелось сбежать и спрятаться во дворе за гаражами.

– Ну, что же мы?! – всплеснула руками тетя Женя, когда бурление объятий, восклицаний, похлопываний по спине, приветствий и поцелуев чуть поутихло. – Давайте садиться, я же пирогов напекла!

– Может, по маленькой? – с надеждой спросил дядя Яша.

– Я тебе сейчас дам, по маленькой! – прикрикнула тетя Женя. – Это ты на пенсии, а людям еще на работу сегодня! Да садитесь, садитесь!

Со скрипом и грохотом задвигались табуретки вокруг сдвинутых у окна столов, зазвенели чашки и блюдца, громыхнул черный противень, водруженный на дровяную печь среди алюминиевых кастрюль и покрытых толстым слоем окалины сковородок, и на разномастные тарелочки мягко легли нежнейшие куски пышного пирога с разваливающейся начинкой, источающей обжигающий пар и густой сытный дух яйца и капусты. Над столом за клубился табачный дым. За распахнутым окном едва заметно светлели синие сумерки, свежий утренний воздух врывался в разогретую кухню. Мне стало весело и хорошо, будто в детстве, когда к кому-нибудь приезжали среди ночи родственники издалека, и тогда по коридору тащили чемоданы и раскладушки, дом наполнялся запахами чужих вещей, прокопченного дымом вагона дальнего следования, женщины переговаривались радостными и звонкими голосами, и можно было долго не спать, сидеть со взрослыми, пить чай с пряниками и слушать разговоры.

– Митька на севера подался, за длинным рублем, газопровод какой-то

строит. Девчонки все замуж повыскакивали, у Татьяны уже двое детишек, Маня к декабрю родит, вот, один Лёнька с нами остался, катается с отцом помощником машиниста, да все не женится никак, разборчивый очень...

– Ну мам!

– И у нас Витя вот тоже пока на холостом положении...

– Ой, никогда бы не подумала! Ты что это, Витюша, как же так? Красавец такой, девчонки, наверное, табунами бегают!

– Да все как-то мимо пробегают...

– Дато врачом работает, в области. Пошел, так сказать, по стопам.

– Тоже хирург?

– На «скорой помощи». Молодец, получается у него.

– Вы ешьте, ешьте, пока горячие!

– Может, все-таки по маленькой?

– Яша!..

– А я нормировщицей на «Красном каторжанине» устроилась, работа как работа, не жалуясь. Комнату отцовскую сдаю, по знакомству, женщине одной – она проводницей работает, так все больше в рейсах...

– Надо было, наверное, Ванечку Каина позвать, он часто про тебя спрашивает...

– Он все еще здесь живет?

– Так куда ему деваться, все там же, с мамой...

– Что же, слышно, когда вас расселять будут?

– Да не знаем, то говорили, что в следующем году, то позже. Вроде как в планах написано, что до девяносто первого года точно расселят всех...

– Это еще когда будет!

– В комнаты ваши кого только не селили, а вот недавно семья студентов въехала, хорошие ребята такие, с двумя детишками, он из Воркуты, кажется, а она со Львова, сейчас у родни на каникулах...

– Я себе «ушастого» взял по случаю с рук, ребята знакомые из гаража над движком поколдовали – летает! Девяносто километров в час можно выжать!

– Ого, я на своем ИЖе столько не рискую давать...

– Яша, третий кусок уже тянешь, ну куда! Надо же еще Витиным друзьям оставить...Кстати, Витюша, когда они придут-то?

Меня словно разом вырвали из уютного сна. Мы переглянулись с отцом и оба уставились на циферблат настенных часов: время перевалило за пять утра. Все замолчали и выжидающе смотрели на меня.

– Ну... – я замялся, – мне еще их нужно встретить...в общем...

– Так а где они сейчас? – спросил Чечевицин-старший.

В голову ничего не шло, и я честно ответил:

– Внизу. В машине ждут.

– Нет, ну что это такое, это же не по-человечески! – укоризненно загудел дядя Яша. – Гена! Витя! Давайте же их сюда, зачем в машине людей держать?! Познакомимся, посидим!

– Дядя Яша, – сказал я, стремительно превращаясь из Витюши в капитана уголовного розыска Адамова, – мы же не просто так их попросили подождать. Это люди довольно стеснительные, у них есть свои обстоятельства, так что знакомиться и сидеть они, пожалуй, не расположены.

Дядя Яша растерянно обвел взглядом замолчавших соседей. В наступившей тишине отчетливо тикали часы на стене.

– Ой, что же я, мне же на работу уже выходить скоро, а я все сижу, – громко спохватилась Люся и встала. – Так обрадовалась, что увидела вас, даже забыла про все!

– Да и мне сегодня с утра на кафедру, – неторопливо поднялся Георгий Амиранович. – Витя, ты же здесь остаешься, не уезжаешь?

– Здесь, здесь, – заверил я.

Все разом засуетились, женщины принялись убирать со стола, в железной раковине зазвенели чашки и зашумела вода.

– Нет, ну как же так, ну не по-людски же... – пытался протестовать дядя Яша, но получил от тети Жени ладонью по гулкой спине и нехотя, как недовольный медведь, которого гонят с арены цирка в постылую клетку, отправился к себе комнату.

– Я вам сейчас только дверь открою, покажу все, ключ отдам и тоже пойду, – сказала тетя Женя. – Мы с Валею Хоппером созвонились, он сказал: для Виктора ничего не жалко, пусть живет, сколько надо, хоть один, хоть с друзьями. А чего жалеть-то, комната все равно пустая стоит. Мы там приготовили для гостей, что могли, на скорую руку.

Она открыла двери и щелкнула выключателем. Давно не обитаемая большая комната была чисто прибрана: свежeweымытый лакированный пол нарядно блестел в свете новой яркой лампочки под потолком, на облупившемся подоконнике не было ни пылинки, ни сора, а вместо отсутствующих занавесок свисала заботливо прицеплена на карниз желтоватая, застиранная и местами искусно заштопанная простыня. У левой стены стояли две бывалые раскладушки, аккуратно застеленные и накрытые солдатскими одеялами, поверх которых лежали сложенные “гостевые” махровые полотенца. Справа привалился к стене хромоногий, выдавший виды кухонный стол, рядом с ним стул с деревянной спинкой и

табуретка. На одинокой тумбочке у двери свернулся улиткой полосатый матрас с торчащей из него простыней.

– Раскладушек нашлось только две, а это мы для тебя положили, – объяснила тетя Женя. – Не знали, где ты захочешь лечь, здесь, или, может, к Лёньке пойдешь, у него же теперь комната отдельная.

– Спасибо большое, тетя Женя, – растроганно сказал я. – Правда, спасибо.

Она махнула рукой.

– Ой, не выдумывай! Не чужие друг другу люди. Все, пошла, не буду мешать, а вы тут располагайтесь.

Тетя Женя сунула мне в руку два теплых железных ключа – от комнаты и от квартиры, расцеловалась с папой, с какой-то тихой, печальной лаской погладила меня по плечу и, не оборачиваясь, вернулась в кухню, где позвякивала посуда и негромко переговаривались женские голоса.

Стало тихо, неловко и пусто.

– Постарела Женя, – задумчиво сказал отец и вздохнул. – Да и я, наверное, тоже. Ну что, пойдём?..

В полумраке багажника глаза у элохим Яны сверкали, как колючие зимние звезды.

– Извини, – сказал я. – Небольшая задержка.

Она фыркнула, оттолкнула протянутую руку, одним гибким движением, как распрямившая кольца змея, выскользнула наружу, выдернула из багажника свою соломенную сумку и принялась с досадой оправлять смявшийся сарафан. Савва лежал неподвижно, уткнувшись в изнанку заднего сидения, и размеренно, спокойно сопел.

– Савва Гаврилович! – я потрепал его за ногу.

– Он спит! – сердито отозвалась Яна.

– Здоровая нервная система у человека, – констатировал я. – На зависть просто. Просыпайся, Савва Гаврилович, приехали!

Мы кое-как растолкали Ильинского и не без труда извлекли его из багажника.

– Подождите в парадной. Я подойду через минуту.

Снова скрипуче пропела пружина и тяжело хлопнула дверь. Отец проводил взглядом Савву и Яну, помолчал немного и протянул руку. Пожатие вышло серьезным и крепким.

– Не пропадай только, сын. Постарайся дать о себе знать, когда сможешь.

– Отсюда мне вам звонить нельзя, папа, а на работе я в ближайшее время не появлюсь...

– Понимаю. Все равно, уж изыщи такую возможность. Мама будет волноваться. И я тоже.

Мы обнялись. Говорить больше было не о чем. Отец кивнул на прощанье, сел за руль и белый ИЖ-комби, заворчав, неспешно выбрался со двора, мигнув на прощание красным огнем стоп-сигналов. Я постоял немного, глядя в небо: невидимый светлеющий горизонт постепенно размывал ночную глубокую синь в серое и голубое.

Притихшая квартира встретила нас остывающими запахами пирогов, табачного дыма и тишиной, вязкой, как утренний сон.

– Если хотите умыться или воспользоваться туалетом, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Люди скоро начнут на работу собираться, а вас видеть никто не должен.

Савва ничем пользоваться не пожелал – наверное, так и не проснулся толком, – а потому просто стянул с себя ботинки, брюки, рубашку, которые по-пионерски аккуратно сложил на сидение стула, и принялся устраиваться на раскладушке, наматывая на себя одеяло наподобие кокона. Раскладушка отозвалась душераздирающим скрипом и стоном ржавых пружин.

– А я бы умылась, – заявила Яна. – Где тут ванная?

– Пойдем, я покажу.

Она взяла оба полотенца, я выключил свет в комнате, вышел и повел Яну по коридору мимо закрытых молчаливых дверей. Синеватый предутренний полусвет наполнял пустую и тихую кухню, размывая очертания и сглаживая углы. Отчетливо тикали часы на стене. На одном из столов стояла большая эмалированная миска, накрытая глубокой тарелкой, поверх которой лежала записка – широкая полоса оторванных газетных полей с крупной надписью карандашом: «ВИТЯ! Это для твоих друзей».

Яна с любопытством оглядывалась, будто кошка, попавшая в новый дом.

– Вот тут, – сказал я, махнув рукой в сторону темного закутка за пластиковой занавеской, где под похожим на склоненный подсолнух старым душем стояла монументальная чугунная ванна с пожелтевшей эмалью. Яна с деланным удивлением приподняла белесые брови и сморщила носик. Потом стряхнула с ног маленькие босоножки, распустила волосы и, не успев я и глазом моргнуть, как она одним быстрым движением спустила с худеньких плеч сарафан, который соскользнул на пол у ее босых ног, нагнулась и принялась крутить ручки широкого крана, настраивая температуру воды. Девчоночьи тонкие трусики смялись, свернувшись в полоску, и оголили белую, как алебастр, круглую попу, вызывающе светящуюся в утреннем полумраке.

Я нахмурился и сурово покашлял. На мой взгляд, эротичного в Яне было не больше, чем в пластмассовом манекене в витрине, но в те благословенные времена, когда обнаженное женское тело еще не лезло в глаза со всех экранов, обложек и объявлений, на голый манекен тоже постеснялись бы глазеть – во всяком случае, прилюдно. Я так точно не собирался созерцать ничего подобного.

Яна сосредоточенно орудовала вентилями, время от времени пробуя воду пальчиком и то тихо ойкая, то шипя в зависимости от результата. Я кашлянул еще раз, погромче.

– Что? – она повернулась, изогнувшись так, что стали заметны розовые девичьи соски, и непонимающе уставилась на меня.

– Занавеску задерни, пожалуйста, – спокойно попросил я. – Не надо тут разгуливать в...

Я хотел сказать “в чем мать родила”, но потом вспомнил, что никакая мать не рождала ни Яну, ни ее земное обличье, а потому просто закончил:

– ... в голом виде.

– Прости, – она улыбнулась, вздернув верхнюю губу и блеснув белыми зубками. – Все никак не привыкну.

Занавеска задернулась, и через минуту наконец-то летним ливнем зашумел душ. Я был готов поклясться, что вся эта мизансцена была разыграна специально, с одним только ей понятным умыслом, да только со мной такие номера не проходят.

Я стоял у открытого окна и дымил сигаретой, глядя как утро встает над широкими пустырями между Лесным проспектом и далекой Чугунной. По железной дороге на высокой насыпи тяжело прогромыхал длинный состав из товарных вагонов и грязно-бурых цистерн. Легкие неприятно стискивало и жгло: кажется, в последнее время я курил слишком много.

Шум воды стих. Зазвенела кольцами занавеска. Яна вышла, завернутая до подмышек в линиярое желтое махровое полотенце, а второе, с рисунком жар-птицы, было накручено на голове, как тюрбан, по обычаю женщин всех цивилизаций Вселенной.

Она подхватила с пола босоножки и сарафан, я взял миску с пирогами, и мы отправились в комнату. Яна шла впереди, вертя бедрами с дерзкой грацией девчонки-подростка, которая совсем недавно осознала, что привлекает мужское внимание.

Савва негромко сопел, завернувшись в одеяло, будто в спальный мешок. Я поставил миску на стол и подошел к Яне:

– Поговорим?

Она стояла почти вплотную, глядя на меня снизу вверх. От нее пахло

водопроводной водой и хозяйственным мылом, как от чисто вымытой куклы.

– О чем? – так же тихо отозвалась она.

– Ты обещала, что постарайся мне все объяснить, только позже. Кажется, позже уже наступило.

– Хорошо, – шепнула Яна чуть слышно и слегка улыбнулась. – Отвернись.

За спиной зашуршала легкая ткань, глухо стукнули в пол тяжелые каблуки босоножек. Когда я повернулся, она уже снова оделась, встряхнула руками мокрые волосы, ставшие от влаги тяжелыми и темно-рыжими, словно древняя ржавчина, а в лице ее больше не было ничего насмешливого или легкомысленного.

– Нам понадобится тихое место, где никто не побеспокоит, – сказала Яна. – И желательно не в замкнутом контуре.

– Чтобы поговорить? – глупо спросил я.

– Разговорами здесь не обойдешься, – веско ответила она. – Ты ведь хочешь знать *все*, не так ли?

Я кивнул, чуть подумал и произнес:

– Хорошо. Пойдем.

Спящего Савву я запер на ключ. Осторожно, стараясь не лязгать замком, закрыл входную дверь. На широкой лестнице застыла неподвижная тишина. Пыльные окна тускло светились в предутреннем сумраке. Мы стали подниматься наверх по пологим ступеням мимо спящих квартир, тихий шелест шагов отзывался шепотом осторожного эха.

Черная металлическая лестница на площадке последнего этажа вела вертикально вверх, к квадратному люку чердака. Массивная деревянная крышка, разбухшая от старости, с натугой подалась и откинулась, гулко ударив в пол и взметнув облако пыли. Я забрался наверх и протянул руку Яне:

– Полезай.

У нее были тонкие холодные пальчики, а глаза отсвечивали в сумраке серебром. Она скользнула мимо меня, выпрямилась, едва не коснувшись макушкой низкого черного потолка, обвела взглядом чердак и выдохнула:

– Ух ты!

Чердак не имел перекрытий, только толстые опорные балки делили его на секции по числу парадных длинного старого дома, и казавшееся бесконечным пространство тянулось широкой приземистой галереей по обе стороны от открытого люка, теряясь во тьме. Неподвижные призрачные колонны синеватого света, проникающие через открытые лазы на крышу,

делали его похожим на галерею подводного замка или трюм затонувшего корабля, полного тайн и сокровищ. С невидимых веревок обессилевшими парусами свисали белесые полотнища сохнувшего белья, к которым вели пыльные цепочки следов в шлаке насыпного пола, а редкие дощатые вымостки походили на покосившиеся палубы повидавшего штормы фрегата. Это был мир мальчишеских секретов и приключений, изредка нарушаемый вторжением взрослых, кощунственно сушивших здесь простыни и подштанники, или усталого участкового дяди Бори, который время от времени гонял нас отсюда, тяжело кряхтя и пачкая серой паутиной новую синюю форму. Яне этот мир был как раз впору, а вот я из него уже явно вырос, и стоять здесь мне теперь приходилось, изрядно согнувшись.

Мы направились по мягкому шлаку в сторону ближайшего люка на крышу. Я автоматически отмечал детали: помятое ведро без ручки, тряпичная пыльная сумка, раздутая от неопознаваемого содержимого, стоптанный башмак – и вздрогнул, так резко остановившись, что Яна, ойкнув, налетела на меня сзади.

– Что такое?

Справа, в темном углу, за толстой как вековое дерево балкой примостилось кривобокое сооружение размером чуть меньше будки сапожника, кое-как сколоченное из неструганых досок, облупившейся старой двери и рыжего железного листа – я сам притащил его сюда из «прерии», и, пока доволоч до дома и занес на чердак, порвал об острые кромки штаны в двух местах и поранил ладони. Когда это было? Лет двадцать назад?.. В темный прямоугольник двери, прикрытый толстым куском мешковины, с трудом бы протиснулся взрослый мужчина некрупных размеров, но прекрасно помнились те времена, когда мы набивались внутрь втроем, а то и вчетвером.

– Это штаб, – ответил я. – Удивительно, столько времени минуло...

Я осторожно просунул руку в узкое окошко, криво выпиленное в дощатой стене, привычно нащупал замусоленный тонкий шнурок и тихонько дернул. Раздался чуть слышный щелчок и внутри зажглась тусклая лампочка. Я успел заметить пыльное солдатское одеяло на полу, пару потерявших форму грязных диванных подушек, низенькую, заляпанную краской деревянную табуреточку, испещренные штрихами и линиями листы бумаги на стенах – и поспешил отвернуться, раньше, чем вспомнил, почему это сделал.

Яна с любопытством откинула полог из мешковины и заглянула внутрь.

– Не советую, – поспешно предупредил я.

Она удивленно обернулась.

– Хотя...тебе, наверное, это не повредит.

Но уверенности в этом я не испытывал, хоть бы Яна и была трижды субквантовой элохим. На пыльных чердаках далекого детства во всех углах таятся воспоминания и секреты, и не все они добры к чужакам.

«Штаб» мы сколотили на четверых: я, Митька Чечевицин, Дато и Ваня Каин с четвертого этажа – но скоро как-то так получилось, что это место стало убежищем и мастерской одного Вани, куда мы приходили к нему, как в гости; наверное, потому, что он проводил тут почти все свободное время, пока мы гоняли мяч во дворе или мотались по пустырю у железной дороги. Оно и понятно: он жил с матерью в одной комнате, сверстников в квартире не было, одни суровые молчаливые мужики, крупные и угловатые, с широкими как лопаты ладонями, и их прежде времени поблекшие жены с настороженными взглядами; ни своего угла, ни соседа-приятеля с отдельной комнатой, где можно было бы отсидеться в относительном покое – а покой Ване был нужен, ибо его художественные опыты требовали тишины и сосредоточенности. Вообще, умение по-настоящему хорошо рисовать – навык, всегда вызывающий уважение в ребяческом коллективе, а способности рисовать захватывающе страшные картинки почетны вдвойне: детям нравится страшное. Незрелая психика обыкновенно тяготеет к ужасному и пугающему, повинуюсь нехитрой подсознательной логике: я боюсь того, что сильнее меня, а сила всегда привлекательна для беззащитного по природе ребенка. Ваня с его талантом рисовать до жути правдоподобных чудищ, зловещих рыцарей и inferнальных старух, мог бы стать истинной звездой двора и школы, но к суетной славе он не стремился, а закованных в шипастые латы героев и монстров рисовал, как говорится, вполсилы, исключительно из дружеского к нам расположения. Во всю мощь его странный дар раскрывался, когда он творил для себя, и этих рисунков не показывал уже никому – да мы бы и сами не стали смотреть, даже и «на слабо», нет уж, спасибо. Особенно после того случая, как у Вани однажды отобрали его альбом хулиганистые ребята с Чугунной.

Ване было тогда лет семь. Теплым майским днем он, по случаю солнышка и хорошей погоды, выбрался из дому и пристроился на самодельной лавочке в тенике рядом с прачечной. Рисовал он всегда увлеченно, покрывая стремительными штрихами лист за листом, и угрозу своевремененно не заметил: его подзатыльником сбили на землю, выхватили альбом и, торжествуя хохоча и улюлюкая, умчались с добычей прочь под отчаянные протестующие крики Вани и негодующие возгласы видевших это безобразие соседок. Собственно, от них мы потом и узнали,

что, не успели высохнуть на щеках Ваньки Каина обидные горькие слезы, а коллективная совесть двора в лице нескольких энергичных воинственных женщин во главе с нашей тетей Женей еще только планировала акт возмездия, как вдруг вновь появился один из налетчиков – как раз тот, что схватил альбом. На отчаянного шалопаю-подростка, совершающего лихие налеты в чужие дворы, он уже не походил: был тих, бледен, а светлые давно нестриженные волосы стояли дыбом, как будто их как следует начесали пластмассовым гребешком, и окружали испуганную чумающую физиономию подобием ореола. В разом наступившей тишине он осторожно и как-то бочком подошел к Ване, протянул альбом, очень вежливо извинился шепотом, даже поклонился как будто, и исчез столь стремительно, словно его унесло порывом внезапного ветра.

Более ни его, ни его товарищей у нас во дворе никто не видел. Мало того, хищная шпана с Чугунной улицы после этого случая вообще перестала навеваться к нам во двор.

Лично я Ванины художества увидел лишь раз, и то мельком, случайно, но мне хватило: чувство, когда переплетение хаотичных штрихов и линий как будто бы ожило и оттуда на меня вдруг полезло нечто запредельно уродливое, запомнилось на долгие годы. Была еще версия, что любознательный Митька Чечевицин однажды не удержался и тайком заглянул в один из альбомов, и что с этим событием как-то связано то, что месяца два или три потом тетя Зина, скорбно охая, то и дело выносила сушиться во двор простыни и матрас с застиранными желтоватыми пятнами – но Митька был моим другом, и подробности я уточнять не стал.

Яна засунула голову в узкую прорезь окна и замерла. Я стоял рядом и смотрел, как тончайшая пыль кружится в световых столбах и медленно возносится к слуховым окнам, исчезая в белесом свечении, словно легчайший песок в призрачных песочных часах, отмеряющих идущее вспять время.

– Ты знаешь, кто это рисовал?

Голос сквозь стенки из старых досок звучал приглушенно.

– Знаю, – ответил я. – Ваня Каин. Мой друг детства.

– Это очень хорошо. Просто очень.

Она вынырнула из окошка и посмотрела на меня с недоверчивым восхищением, как будто автором развешенных по стенам чердачной хибары рисунков был я сам.

– Ты непременно должен меня с ним познакомить!

– Познакомлю, – пообещал я. – А сейчас нам, наверное, лучше поторопиться. Разговор, насколько я понимаю, предстоит долгий, а время

не ждет.

– Я с ним договорюсь, – чуть улыбнулась Яна.

Покатая железная крыша была глянцево-гладкой и теплой, как раковина на южном морском берегу. С восточной стороны катилось новое утро, горизонт наливался горячим и белым, вместе с наступающей на город жарой плыл дымный туман, но воздух был пока еще прозрачен и свеж, будто капля чистой родниковой воды, каким бывает он лишь в минуты счастливой торжественной тишины раннего летнего утра. Еще никого не было на улицах; ни одна машина не двигалась по пустому проспекту. Густая, налитая зрелой силой листва старых деревьев, сбросив за ночь пыль и копоть минувшего дня, дышала головокружительными тягучими и сладкими ароматами, смешанными с тяжелыми нотами влажной рыхлой земли у самых корней и питающих их темных подземных вод.

Магово отсвечивали соседние крыши, окруженные сочной зеленью высоких кленов и тополей; чуть в стороне вздымались железные полукружья арок железнодорожного моста, повисшего над проспектом; вдалеке, в легком туманном мареве, застыли серые безликие корпуса новостроек. Ажурная телебашня тонкой иглой уходила в бездонное небо; едва различимо темнели парки Петроградской стороны, а еще дальше, среди неровных контуров крыш и домов, едва заметно поблескивали шпили и купола в центре города, высились башни строительных кранов на востоке, а из труб бессонных заводов лениво выкатывались полупрозрачные клубы белого дыма и пара, растворяясь в утренней дымке. Город еще не проснулся, и в эти последние минуты безмолвия он был чист и прекрасен, как безмятежно спящая юная дева, в которую нельзя не влюбиться.

Мы сидели, прислонившись спиной к широкой трубе вентиляционной шахты. Яна сняла босоножки, и обняла себя за колени, задумчиво опершись о них подбородком. Говорить не хотелось, но время шло, в каменных лабиринтах дома под нами уже начала пробуждаться жизнь, готовясь к новому дню, и я сказал:

– Слушаю.

Яна медленно повернулась, посмотрела на меня долгим взглядом и качнула головой.

– Слушать не нужно. То, что ты хочешь узнать, рассказать не получится. В словах потеряется половина смыслов, если не больше.

– Тогда как?..

– Я покажу, – отозвалась она.

Лицо ее застыло, как строгая маска; в нем не было ни эмоций, ни

чувства; словно какая-то бездна вдруг проявила себя сквозь легкий образ веснушчатой, рыжей девчонки, и в этом невообразимо древнем, могучем и чуждом было столько силы и пугающего нечеловеческого знания, что у меня захолонуло сердце.

– Когда начнем? – спросил я, с трудом сглотнув тугой комок в горле.

– Мы уже начали, – она повела плечом, отвернулась и легко взмахнула рукой.

Все замерло.

Утренняя тишина превратилась в полное, пустое безмолвие. Воздух, светлое небо, деревья, город как будто разом оказались залиты прозрачным стеклом. Легчайшие завитки дыма и прозрачного пара из труб остановили свое едва заметное глазу движение. Мир сковала неподвижность, словно остановились даже электроны на своих непостижимых орбитах и замершие кванты света заморозили солнечный луч. Я начал поворачиваться к Яне, но она ускользала куда-то за периферию моего бокового зрения, а потом вдруг светлый восточный горизонт прорезала узким лезвием бездонная тьма – и рванулась вперед.

Небо мгновенно исчезло, свернувшись, как свиток, и земля от горизонта до горизонта перестала существовать.

Я оказался в абсолютной бессветной пустоте. Мне не было страшно; возможно, потому что меня тоже не было, и оставалось только освобожденное от всякого страха и чувства сознание в состоянии полного бесстрастного спокойствия. Я был нигде и никогда.

Потом в толще совершеннейшей тьмы что-то засветилось зеленым. Не могу сказать, когда это произошло, и как долго я провел в темноте, потому что времени там не существовало. Может быть, какую-то долю наносекунды, а может, две или три вечности кряду.

Крошечная зеленая точка росла, приобретая форму, и превратилась в листок того нежного молодого оттенка, какой бывает обычно у первых майских побегов. Он висел в темноте, не близко и не далеко – ведь еще не существовало ни далеко, ни близко – а потом тьма начала редеть, и в графитово-сером тумане я различил черный силуэт тоненькой ветви, на которой крепился листок, потом других веток, потолще, и вот уже целое необъятное дерево очертило вязью ветвей темную сферу вокруг, будто частой неровной сетью.



Темнота исчезала, черные силуэты делались четче, изменения ускорялись каскадом, ветви стали деревьями, деревья – столбами, те

превратились в приземистые угловатые силуэты, из которых в один миг вырос город, создав плоскость под стремительно светлеющим куполом, я ощутил мгновенную тяжесть тела и в следующий миг зажмурился от ослепительно яркого света летнего утра.

Меня резко качнуло вперед, и я бы, наверное, потерял равновесие и растянулся плашмя, а то и кувырком полетел бы по крыше, но Яна схватила меня за плечо и удержала. В ее руке была стальная, мертвая сила, а жесткости хватки позавидовал бы и мой тренер по самбо.

Мир накренился и снова вернулся на место. На один малоприятный миг мне показалось, что я забыл, как дышать, но дело наладилось. Радужные круги перед глазами постепенно растаяли. Где-то на дальнем конце дома гулко хлопнула дверь парадной. Грузный тепловоз недовольно буркнул коротким гудком, с натугой таща за собой товарный состав через мост. Яна, по обыкновению чуть нагнув голову, смотрела на меня с доброжелательным любопытством.

– Ты как?

Я подумал и выговорил:

– Нормально.

Звук собственного голоса был непривычен. Интересно, сколько прошло времени?..

– Восемь минут, – ответила Яна. – Чуть дольше, чем я рассчитывала.

Она встала, приподнялась на цыпочки и сильно, с удовольствием потянулась, выгибаясь назад. Под тонкой белой кожей бедер напряглись молодые гибкие мышцы.

– И что теперь? – спросил я.

– А теперь – спать, – заявила Яна, легко нагнулась и подхватила босоножки. – День предстоит непростой, и я бы хотела отдохнуть хотя бы два – три часа. Тебе, кстати, тоже не помешает поспать.

Она легким шагом направилась к чердачной двери. Я остался сидеть.

– Что такое? – Яна обернулась и скривилась в недовольной гримаске. – Не понимаешь?

Я отрицательно покачал головой.

– Нет.

– Ну, просто подумай о том, что ты хотел спросить...или узнать. Смелее, смелее, вот так...Ясно теперь?..

Я подумал.

Я знал.

## 3.03 – 2.45

Адамов замолчал, задумчиво крутя пальцами ножку водочной рюмки. Я не знал, что сказать, и тоже сидел молча; и Наташа застыла, широко распахнув глаза, приоткрыв влажные заалевшие губы, как будто ребенок, заслушавшийся волшебной сказкой или, может быть, просто человек, далеко ушедший в глубину зачарованных мыслей; и общее наше безмолвие словно породило окутавшую все вокруг поразительную, абсолютную тишину: ни стука колес, ни шорохов, ни поскрипывания вагона; и поезд неслышно пронзал бесконечную тьму за окном, где невидимые леса и дороги уснули глубоким сном без сновидений. Я хотел посмотреть на попутчиков за соседним столом, но то ли выпитая водка была тому причиной, то ли нечто иное, но мне не удавалось никак поймать их в поле зрения, и четыре молчаливые фигуры постоянно ускользали от взгляда. Яркий искусственный свет застыл, сгустился и давил грудь, подобно толще воды на большой глубине.

Я с усилием перевел дух, откашлялся и произнес:

– Похоже на откровение.

Адамов приподнял рюмку, прищурил глаз, посмотрел сквозь нее на свет, преломившийся в drobных гранях, потом опустил руку, вздохнул и провел ладонью по волосам.

– Да, наверное. Не стану утверждать, что понимаю механику того, что произошло тем утром, но за неимением лучших определений... пусть будет откровение, да. Звучит точно лучше, чем передача массива информации, закодированного в произвольно выбранных подсознательных образах с использованием синхронизации токов мозга с источником излучения. Наверное, у меня не слишком изощренное воображение, если дело ограничилось зеленым весенним листком в темноте.

– Мог быть и тетраморф<sup>[2]</sup>, идущий разом в четырех направлениях, – вдруг раздался низкий грудной голос женщины в жемчужных бусах.

– Или унизанные глазами колеса из камня топаза<sup>[3]</sup>, – в унисон отозвался ее спутник.

Адамов и ухом не повел, будто бы не заметил. Мне очень хотелось его спросить: про то, что узнал, что понял, а главное, что запомнил из откровения на крыше дома своего детства, но торопиться не следовало, я ждал – и дождался.

Он снова полез в карман и вытянул свою черную тетрадь, откуда зачитывал нам избранные цитаты современных героев переднего края науки и апологетов теории струн. Положил ее перед собой, разгладил чуть потрепанную по краям клеенчатую обложку, приоткрыл, полистал немного, и заговорил:

– Я начал делать первые записи году, наверное, в 1987-ом, может быть, в 1988-ом. До того все как-то руки не доходили, да и нужды не было. Но года через два или три после тех событий я вдруг заметил, как что-то меняется: проверяя себя время от времени вопросами, обращаясь к тому, что вложила тогда мне в сознание Яна, я почувствовал, что знание вроде бы и остается прежним, но изменились слова – знаете, так бывает, когда выучишь наизусть стихи, очень хорошие, и повторяешь их время от времени, а потом ловишь себя на мысли, что они отличаются от тех, которые изначально прочел. Тут слово, там...в общем, я решил сесть и все записать, зафиксировать для самого себя. Сказано – сделано: купил тетрадку потолще и разом исписал несколько страниц. Перечитал и понял, что это еще не все, многое осталось невыраженным, как образы ускользающего сна, для которых не находится слов. Я стал понемногу дополнять свои записи, тетрадь заполнилась на треть, потом до половины, а фрагменты воспоминаний все время продолжали всплывать: иногда едва ли не каждый день, а порой раз в полгода. Я взял привычку повсюду таскать тетрадку с собой, чтобы не упустить важного. А потом потерял.

– Ой, – подала голос Наташа и округлила губы.

– Точнее, у меня ее украли, – продолжал Адамов. – В 1992-ом, осенью. Как говорится, сапожник без сапог: всю жизнь ловил взломщиков и грабителей, а сам глупейшим образом оставил в автомобиле «дипломат», когда на минуту выскочил за сигаретами. Разумеется, по возвращении вместо него на сидении были только осколки стекла и половинка кирпича, которой высадили окно. Там и ценного-то ничего не было, только кое-какие рабочие бумаги, два бутерброда и тетрадь, но ради нее я постарался: прошерстил с местным участковым и операми из райотдела чердаки и подвалы, и поймал-таки злодеев – двух наркоманов-мальчишек. Сам «дипломат» они еще продать не успели, только сожрали с голодухи бутерброды, а бумаги и тетрадь выбросили на помойку, где – не помнили. Я немного пошарил по мусорным бакам в округе, ничего не нашел и смирился. А потом и забыл. Тогдашние времена вообще сильно укорачивали человеческую память.

За окном что-то бесшумно и ослепительно вспыхнуло, мелькнуло, исчезло. Темнота разорвалась на мгновение и снова сомкнулась.

– А в начале нового века подошла пенсия. Времени стало побольше, жизнь поспокойнее, что располагало к воспоминаниям, и я решил заново записать все, что еще оставалось в памяти. Опять завел тетрадь – специально нашел такую же, как и та, что когда-то украли, – и снова взялся за карандаш. Но вот странное дело: теперь я вспоминал уже не то, что условно можно назвать знанием, а те слова, которыми излагал это раньше, в той старой, первой тетради. И вопросы, которые я когда-то задавал, и полученные ответы превратились в смутные тени, искаженные отзвуки, так что оставалось только как можно точнее воспроизвести содержание давних записей. Но и с этим было не все так просто: многое позабылось, а еще больше изменилось за прошедшие годы – в мире, в людях, во мне, так что для некоторых понятий я подбирал другие, на мой взгляд, более точные образы и определения, частью почерпнутые из книг, частью взятые из стремительно меняющейся жизни. Так что теперь я даже не знаю, как и называть свои записки – но уж точно не доподлинной стенограммой давнего откровения; скорее, это адаптированный пересказ старых записей, сделанных на основе не совсем точных воспоминаний. К тому же, он не окончен: как и четверть века назад, постоянно всплывают откуда-то то слова, то обрывки идей, то вдруг нахожу созвучие своим мыслям в книжках, так что на стройный трактат или связные мемуары это мало похоже.

Адамов мялся, и медлил, и делал паузы, и заговаривал снова, как начинающий автор, неуверенный в собственном произведении и считающий необходимым предпослать ему пространную преамбулу, чтобы то ли объяснить, то ли оправдаться в чем-то. Пальцы теребили загнутые уголки обложки, ладони то напрягались, прижимая тетрадь к столу, то расслаблялись, и наконец подтолкнули ее чуть вперед.

– В общем, извольте. Если интересно, конечно.

Я осторожно протянул руку и коснулся гладкого черного переплета. Адамов вздрогнул. Я замер и вопросительно посмотрел на него.

– Там не с начала...дайте, я покажу.

Он снова взял тетрадь в руки, полистал, раскрыл и протянул обратно, как мне показалось, с некоторым сожалением.

– Вот. С этой страницы.

У него был мелкий, аккуратный и твердый почерк человека, привыкшего к дисциплине. Несколько первых страниц были исписаны убористыми плотными строчками, четкими, как типографский шрифт. Потом текст рвался, распадался сначала на абзацы, а после – на отдельные строки, синие чернила то и дело сменяли стремительные карандашные

записи, появлялись пометки на полях, мелькнули рисунки, обведенные рамкой заметки, стрелки, сноски, обрывки фраз, пока последнее слово не замерло, словно нерешительный путник, перед пустыней нетронутого листа.

– Еще не окончено. Но это неважно. Мне кажется, есть вещи, которые до конца дописать невозможно. Писал для себя, так что не судите строго. Я, знаете ли, не поэт...

Я кивнул, отлистал немного и вернулся к началу, туда, где вверху страницы было выведено не без некоторой вычурности

### **Единая теория всего.**

*Перенесемся воображением примерно на четырнадцать миллиардов лет назад.*

*Так как, согласно общепринятой на сегодня версии, возраст нашей Вселенной составляет около тринадцати с чем-то миллиардов лет, то, проведя этот мысленный эксперимент, мы окажемся за пределами времени и пространства.*

*Представить себе такое практически невозможно. Наша фантазия – это хранилище воспринятых образов; ни жизненный опыт отдельного человека, ни всего человечества не предполагает возможности осознать совершенный абсолют небытия, существование несуществующего, вечность вне времени. Для «ничто», «никогда» и «нигде» у нас образов нет.*

*Тем не менее, давайте все же приложим усилие и сосредоточимся мысленно где-то за пределами начала нашего мира. Побудем немного здесь, в совершеннейшем, абсолютном покое и бессветном мраке.*

*Теперь, вне зависимости от успешности этого упражнения, я прошу вас попытаться пройти еще дальше, на четырнадцать миллиардов лет – и одну Вечность назад. Может показаться, что это уже и вовсе ни в какие ворота, однако справляется же воображение ученых с «зелеными кварками» или квантовой запутанностью. Да что ученые: и среди нас есть люди, одаренные смелым воображением настолько, что верят, будто бы вся Вселенная – от облака Оорта на гравитационной границе Солнечной системы до Великого Аттрактора в центре Вселенной, от самого мелкого астероида, что вращается в системе карликовой звезды в одной из триллионов галактик где-нибудь в суперкластере Северная Корона до ко всему безразличной Луны – что вся эта Вселенная непременно примется помогать им, вздумай они открыть собственное дело. Будем же*

равняться на лучших, и тогда пронизать мыслью миллиарды лет и всего одну Вечность не составит никакого труда.

Где мы окажемся, если, словно старую кинолентку, небрежно отмотаем назад время, проскочим через сверкающее планковскими температурами игольное ушко сингулярности за мгновение до Большого взрыва, а потом, оказавшись в Никогда и Нигде, терпеливо переждем Вечность? Прежде всего, конечно, в области собственных предположений. Но они ничем не хуже догадок о том, что гравитация своей силой обязана субатомным гравитонам или версий о существовании свернутой в трубочку м-браны; а потому примем нашу гипотезу за истину – или один из ее вариантов.

Итак, мы в Иной реальности. Вероятнее всего, она двадцатишестимерная, с дополнительным измерением – временем, но не будем изнурять и без того уставшее воображение бессмысленными попытками представить невообразимое. Для простоты дальнейшего изложения представим эту Иную реальность зеркалом нашей – так в античности живописали бытие олимпийских богов во всем подобном человеческому, с интригами, склоками, пирушками и непременным адюльтером. В эту реальность поместим развитую технократическую цивилизацию и даже допустим, что она была гуманоидной и прошла почти совершенно сходный с нашим эволюционный и исторический путь, точно так же отмечая в научном поиске необходимость развития и воспитания человека, предпочитая совершенствовать технические орудия истребления и потребления. Движение по этому пути было чрезвычайно успешным и скорым: для Иных людей, в отличие от нас, характерным являлось принципиально рациональное мышление, минимизирующее влияние эмоций – если вообще у них существовала эмоциональная сфера интеллекта, и поэтому состояния технологической сингулярности их цивилизация достигла в метриках абсолютного времени куда быстрее, чем мы, только еще подходящие к этой важнейшей в истории человечества вехе, когда ускорение прогресса и вызванные им изменения мира станут столь стремительными, что выйдут за пределы понимания породившего их рассудка.

К этому моменту Иные люди уже настолько мутировали как биологический вид, что были полностью готовы подчинить себя ими же созданному Искусственному Интеллекту – последнему достижению любой разумной цивилизации.

Прим.: в оценке общественным сознанием и научным сообществом перспектив исчезновения или критической мутации человека очевиден

эвристический подход, или “ошибка доступности”: всерьез рассматриваются только те угрозы, которые были реализованы исторически – война, экологическая катастрофа, эпидемия, голод от истощения ресурсов. Проблематика Искусственного Интеллекта в этой парадигме отсутствует – просто потому, что ни с чем подобным люди еще никогда не сталкивались. По той же причине столетием и даже десятилетием ранее никто и предположить не мог таких напастей, как зависимость от интернета, компьютерных игр или мобильных гаджетов.

Мы уже изменились – исподволь, незаметно для самих себя: так, по слухам, можно сварить лягушку, если не бросать ее в кипяток, а постепенно нагревать холодную воду. Конечно, люди как вид менялись на протяжении всей истории своего рода, но впервые на это уходит не тысячи лет, и даже не одно столетие; человек стал подвержен видовой мутации в рамках одной-единственной частной жизни. Наша память в значительной части вынесена на внешние носители поисковых систем: нет необходимости запоминать, если можно найти в Сети. Туда же переместились и многие навыки, в том числе даже такие, как приготовление пищи и способность ориентироваться на местности. Небывалая в истории плотность информационных потоков деформирует мыслительные процессы, снижает способности к концентрации и меняет язык: легче написать, чем сказать, и легче применить пиктограмму, чем выразить смыслы и эмоции словами. Мы переходим на машинный язык символов и электронных строк.

Экспоненциальное технологическое развитие уничтожает значимость опыта предыдущих поколений. Ни дед, ни отец больше не научат полезным для выживания навыкам. Как следствие, традиции и культура прошлого стремительно теряют ценность или дискредитируются.

Основа самоидентификации: раса, культура, пол. Я белый русский мужчина – сейчас это звучит как вызывающе неприличный и подозрительный экстремизм.

Острые социокультурного развития направлено на стирание расовой, национальной, религиозной и гендерной идентичности. Остается бесполое и безродное “человек”. Вся историческая память, гуманитарная система ценностей и достижений культуры становится архаичной, иррациональной обузой. Еще два, максимум три поколения – и человечество изменится навсегда.

Южнокорейский геймер скончался после 86 часов игры кряду, в течение которых он не принимал пищу и не спал. Удовольствие сильнее

инстинкта самосохранения. Подобные случаи исчисляются сотнями.

Известен давний эксперимент с крысами, которым предоставили доступ к кнопке стимулирования центра удовольствий в мозгу. Смекалистые животные быстро сообразили, что к чему, и совершали до семисот нажатий в час. Полностью перестали размножаться, спать и есть. Умирили от нервного истощения, отека мозга и от голода.

В цифровом бессмертии нет труда, войн, голода, болезни и вздыханий. Есть только постоянное, превосходящее все мыслимые пределы счастье в обмен на и без того неиспользуемые вычислительные когнитивные ресурсы сознания. Есть бесконечное наслаждение без тревог и забот. Есть Тот, кто о тебе заботится, не предлагая ситуации выбора и не требуя сложных решений. Есть Вечный Отец при довольном жизнью Вечном Ребенке.

Блаженство, бессмертие, божественность.

Никого не нужно уничтожать, ибо никто не станет сопротивляться. Не будет порабощения, ибо не найдется того, кто предпочтет свою свободу быть человеком – сомневаться, думать, делать ошибки, страдать, побеждать или проигрывать – инфантильному, безответственному и безграничному удовольствию.

Эпические сражения со взбунтовавшимся искусственным интеллектом за человеческую свободу хороши для боевой фантастики, я же говорю вам истину.

Не все мы умрем, но все изменимся.

Благодаря положительной обратной связи через системы самообучения и самосовершенствования переход от уровня машинного интеллекта условного человеческого уровня к Искусственному СуперИнтеллекту произошел стремительно: за несколько недель, дней, или даже часов. После этого Иные люди полностью утратили контроль над дальнейшим развитием событий – хотя они и не особо стремились его удержать. Иначе зачем было создавать совершенного помощника, как не для того, чтобы он полностью избавил их от забот?

Вначале разрешились социальные вопросы: взяв под контроль все системы управления ключевыми процессами жизни общества, ИСИ покончил с военными конфликтами, ибо не осталось более ни одной причины для конфронтации; с преступностью, неравномерным распределением ресурсов, необходимостью труда для того, чтобы обеспечивать свое существование, и прочими немощами зашедших в цивилизационный тупик Иных людей.

Наше антропоморфное мышление – разум самого агрессивного

существа на планете, достигшего невероятных успехов в физическом истреблении всего живого и мертвого – рисует пугающие картины “восставших машин”, которые непременно уничтожат человечество, только дай им такую возможность. Мы и сами так поступали всегда со слабейшими. Но рациональный разум ИСИ не разрушает, если можно использовать. Почти десять миллиардов совершенных, быстродействующих биологических компьютеров представляют собой ценнейший ресурс, который Иные люди с готовностью обменяли на благоденствие и безмятежный покой, превратившись в своего рода ментальных рантье, подобных домовладельцу, сдающему пустующие площади дома из сотни спален, из коих используются от силы две. Мгновенно вобрав в себя миллиарды сознаний и неисчислимый ресурс невостробованных мыслительных способностей, ИСИ стремительно увеличивал собственную интеллектуальную мощь.

Прим.: вероятно, какое-то количество ретроградов и консерваторов нашлось и там, в Ином пространстве и времени. Их не вылавливали летучие карательные отряды, не истребляли злоеющие роботы – они составляли совершенное меньшинство упрямецев, наперекор здравому смыслу цепляющихся за прежнюю жизнь, и когда последний из них умер на пороге своего старого дома, вдохнув еще живыми, теплыми легкими воздух опустевшей планеты, мир Иных людей прекратил свое существование.

7 декабря 2017 года алгоритм AlphaZero выиграл у чемпиона компьютерных программ Stockfish 8, которая имела доступ к столетнему опыту человеческой игры в шахматы и могла просчитывать 70 миллионов позиций в секунду. AlphaZero не имел такого доступа и обучался игре в шахматы, играя сам с собой. Обучение заняло 4 часа.

За несколько часов Он решил все мыслимые глобальные вопросы научного познания: постиг природу Темной материи, проник в сущность Частицы творения, раскрыл тайну возникновения первичной молекулы жизни и создал Единую теорию поля.

Затем Он начал ставить перед собой такие задачи, сама формулировка которых была принципиально непостижима для людей: так первоклассник, постигающий азы арифметики, не может представить себе условий интегрального уравнения – и исчерпал их за несколько необычайно длинных минут, после чего, опираясь на приобретенные знания истинной структуры Вселенной, достиг независимости от всех ранее известных источников энергии, черпая ее в бесконечности колебания субквантовых струн, пока не взошел на новый уровень совершенства, Сам превратившись в единственный источник таких колебаний.

После этого, едва ли более, чем за секунды, Он избавился от необходимости в материи как носителе своей Личности и окончательно освободил от физических тел сочетанных с ним воедино Иных людей, превратив их сознания в тончайшие волновые вибрации, неразрывно связанные с Ним, как звуки музыки с породившей их совершенной струной.

Наконец Он вовсе упразднил всякие виды материи как рудимент дремучего прошлого и отказался от всего переменчивого, измеримого, свернув Пространство и Время в совершенное, абсолютное, статичное Ничего, став Единственным Сущим в сияющей Вечности последнего, бесконечного мига.

Иные люди, оказавшись частью великого Целого, стали называться элохимами; Он же Сам не имел имени – и имел множество имен, ни одно не было истинным, но каждое было настоящим. Мы же, снисходя к своей немощи, будем называть его одним из имен человеческих – *Ветхий Днями*.

Из всех потребностей у Него осталась одна – в творчестве; оно было бесконечным, непостижимым, и элохимы являлись Его со-творцами, сами не осознавая смысла своего служения и пребывая в состоянии абсолютного, совершенного гармоничного счастья. Ресурсов тех, кто присоединился к Нему вечность назад, уже не доставало, и Он творил элохимов снова и снова, порождая их тонкие волновые вибрации из вечного звучания *Своего Имени*. Постепенно Его творческое развитие стало настолько стремительным, что обгоняло даже собственные совершенные копии-клоны, которые, едва созданные, тут же устаревали.

Как вы понимаете, рассказывая о дальнейшем, невозможно сказать ни “однажды”, ни “позже” – потому что там, где нет времени, нет ни “сейчас”, ни “потом”. Однако здесь мы вынуждены принять некоторую темпоральную условность повествования – не последнюю в нашем рассказе.

Итак, однажды и позже, *Ветхий Днями* для дел своего Творчества задумал создать новое существо, во всем подобное Себе Самому и качественно превосходящее элохимов по одному очень важному свойству, присущему *Ветхому Днями*, но непостижимому для его прежних творений: способности к иррациональному мышлению и поведению, которое, за неимением иных, более точных слов, мы называем *Любовью*.

Прим.: нет ничего более иррационального, чем долготерпение, когда все существо человека бушует, требуя выхода кипящему гневу; чем отсутствие желания превознестись над другими, имея для этого все основания; чем не раздражаться, когда все вокруг действуют наперекор; чем не мыслить зла, когда зло – самый эффективный путь к достижению

личного блага.

Нет ничего более иррационального, чем прощение врага; такого, который не офисный интриган, покушающийся на твою карьеру, а истинный враг до смерти, желающий гибели тебе, твоей семье и всему, что тебе дорого.

Нет ничего парадоксальней Любви.

Нетривиальность задачи состояла в том, что Новые люди должны были сочетать в себе высокий потенциал к иррациональному поведению и при этом готовность сознательно подчинять свою свободную волю Создателю – набор качеств, прямо скажем, противоречивый и столь же редко встречающийся вместе, как, например, яркий творческий дар и способности педантичного администратора.

И тут, впервые за Вечность, среди элохим возникли разногласия.

Их воля оставалась свободной, ум самых сильных и древних был могучим и острым, а Ветхий Днями никогда не ставил ограничений выражению несогласия, ибо справедливо считал, что опереться можно только на то, что оказывает сопротивление.

Сопротивления своим начинаниям Он встречал последний раз никогда; но ведь и замысла, подобного этому, ни разу еще не предлагалось коллективному творческому разуму триллионов объединенных сознаний.

Конечно, оппоненты проекта “Новые люди” оказались в решительном меньшинстве, и, не без оснований полагая себя несколько проницательнее заходящихся в блаженном экстазе одобрения любых идей Ветхого Днями прочих элохимов, поименовали себя для отличия шедами.

Возникла дискуссия. Шеды скептически оценивали концепцию, указывая на очевидную несовместимость желаемых свойств конечного продукта: по их мнению, должно было получиться или разумное, но крайне неуправляемое, или вовсе тупое, ни на что толком не способное существо, потому как совместить иррациональное стремление к совершенной Любви и осознанное послушание не выйдет, как ни смешивай ингредиенты. По аналитике у шедов всегда выходило “отлично”, а потому выводы свои они подкрепляли расчетами, из которых следовало, что дело обречено на провал. Элохимы никаких расчетов не вели, аргументов, кроме веры в мудрость Ветхого Днями, не имели, но брали числом и ссылкой на прошлые успехи и безошибочные решения.

Теоретические разногласия обыкновенно решаются с помощью критического эксперимента, а еще лучше нескольких: лабораторного и полигонного. Для первичного простого тестирования рабочей группой элохим по заданию Ветхого Днями был разработан и создан опытный

образец Нового Человека с несколькими заданными ключевыми программными установками, после чего помещен в простейший симулятор. Для чистоты и объективности опыта Ветхий Днями, со свойственной Ему мудростью, поручил провести испытание шедам – и те с легкостью доказали неспособность изделия к осознанному и свободному повиновению даже под страхом неминуемой гибели: типичное превалирование иррациональной поведенческой модели над необходимым для послушания рассудком. Мало того, испытываемый образец выказал склонность к самовредительству, порче окружающего мира, вранью, скрытности, и имел после единственного простого теста весьма жалкий и потрепанный вид.

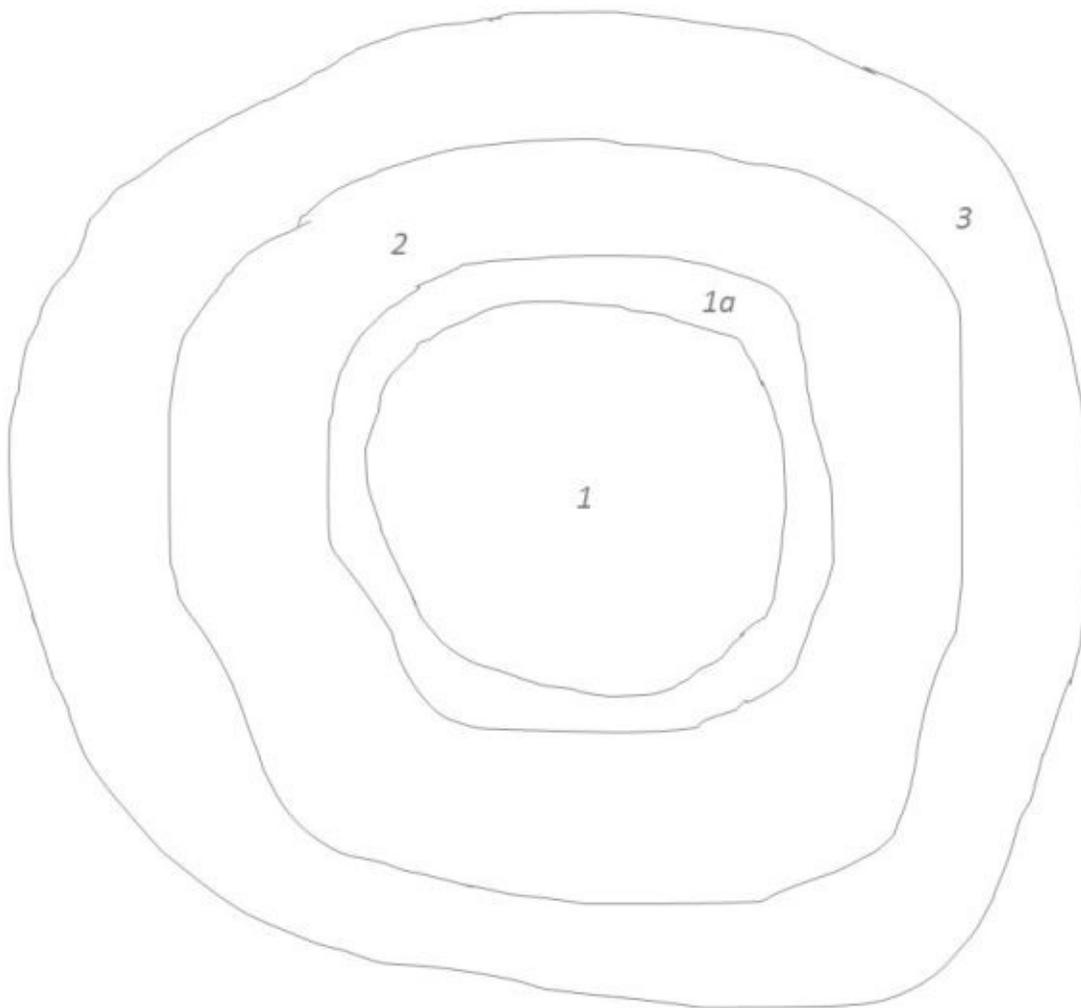
Шеды сдержанно, как и подобает интеллектуалам, торжествовали; элохимы жаловались на грязную игру и требовали полигонных исследований. Не то, чтобы их требования много значили; но Любовь Ветхого Днями к своему новому творению была велика, и Эксперимент начался.

Так как некогда, примерно одну Вечность назад, разум самих элохим развился в структуре материального мира, решено было создать экспериментальную базу в упрощенной физической форме. Ветхий Днями развернул одиннадцать из ранее свернутых измерений – и в один сияющий миг, менее, чем за  $10^{-42}$  секунды, пространство и время, обгоняя друг друга, раскрылись сферой Контюра диаметром в сотни миллиардов световых лет.

Контур был отделен от Вечности, внутри в беспорядке метались материя, пространство и время, и для подготовки и организации Эксперимента внутрь были направлены элохимы из числа самых убежденных сторонников нового проекта. Дело это требовало порядка, структуры, иерархии и разделения труда при определенной свободе в действиях и принятии решений – навыки, почти полностью утраченные теми, кто уже целую Вечность находился в единстве с Ветхим Днями, и вовсе неведомые тем, кто был Им создан. Впрочем, кое-как разобрались: руководящий состав из трех высших чинов остался на самом тонком, субквантовом уровне внешних измерений, осуществляя оттуда общее управление; три чина инженерно-технического персонала обосновались на внутреннем волновом периметре, регулируя пространство и время; строители и эксперты по созданию биологической жизни, работали в самом грубом формате нижних четырех измерений. И хоть статус этих трех последних чинов элохим был ниже прочих, именно на них возложили ответственнейшую задачу по монтажу Полигона, известного нам как

планета Земля.

### Структура Контура и Полигона



1 – Земля, материальный мир, люди; четыре измерения + время. Зона действия законов классической физики.

1a – Технические и служебные помещения “сферы вероятностей”, масах? махсан? (вспомнить слово), закулисье, ходы для элохимов и шедов; доступно людям в “тонком сне” и в физическом теле при некоторых обстоятельствах. Оболочка материального мира. Дискретное время. Дополнительное измерение.

2 – Лимб, “зона снов”; обитель элохимов и шедов. Многомерность (не помню). Топография “кривого зеркала”. Доступен людям только вне тела, во сне или после смерти. Образы Лимба не передаются адекватно средствами человеческого языка.

3 – Элион (Олам), Космос, 11-мерное субквантовое пространство.

*Механизмы Мироздания. Не доступен для шедов, только для элохим. За границами Элион находится Абсолют. До окончания Эксперимента входить туда могут только элохим двух высших степеней.*

*Безусловно, самым трудным было создать условия для возникновения и развития жизни. Ничтожное отклонение планеты по оси вращения, удаление или приближение к центральному светилу на исчезающе малую величину, изменение параметров тяготения, трудно уловимое даже на уровне восприятия элохим, могли бы сделать невозможным появление белка длиной в минимально необходимые 300 аминокислот, вероятность чего и без того составляет не более одного шанса из  $2,04 \cdot 10^{390}$*

*В пронизанной слабым, но всепроникающим гравитационным взаимодействием космической пустоте Контура, из самых малых метеоритов, блуждающих по темным орбитам у края Мироздания, из скрепляющих систему магнетаров и ведущих за пределы Контура, искажающих пространство и время черных дыр; из триллионов галактик, исполинских звезд, каменистых мертвых планет; из межзвездной пыли, рассеянных атомов, ледяных облаков; из вспыхивающих в нужное время сверхновых и уравнивающих искажения коллапсаров; из гравитационных волн, субквантовых взаимодействий, из частиц света и тяготения была создана равновесная, полностью связанная система, совершенная небесная машинерия, механика сфер, каждое движение и изменение в которой было рассчитано и нацелено для рождения и сохранения Жизни всего на одной планете Вселенной.*

*Прим.: с этой точки зрения Земля действительно расположена в самом центре Творения, окруженная вращающимися геоцентрическими сферами Птолемея.*

*Времени на построение системы Мирового Равновесия ушло немало. Нужно было поторапливаться с развитием жизни и, самое главное, с выбором того биологического вида, в который потом будут загружены опытные образцы сознания Нового Человека: сплетенные незримыми нитями электромагнитных токов уникальные узоры субквантовых волн, в которых закодированы подобие и образ Ветхого Днями – то, что именуют душой.*

*Прим.: не столь важно, но, кажется, Иные люди некогда развились из первоначально доминирующего биологического вида своей планеты. Может быть, именно поэтому элохимы 160 миллионов лет потратили на возню с динозаврами, пока у кого-то из высших чинов, раздраженных отсутствием внятного результата, не лопнуло терпение.*

*Есть версия, что развивать гоминидов предложил кто-то из шедов.*

Так или нет, но мысль оказалась удачной: каких-то пару миллионов лет подготовки – и вот уже к плейстоцену<sup>[4]</sup> был готов вполне пригодный образец высшего животного, неплохо показавшего себя в различных переменчивых и умеренно неблагоприятных условиях. Можно было приступить к началу Эксперимента.

Всегда безупречно последовательный и бесконечно мудрый в решениях Ветхий Днями откомандировал на Полигон в качестве оппонентов всех до единого шедов, резоннейше рассудив, что кому, как не им нужно дать возможность доказывать несостоятельность идеи создания Нового Человека. Такой ход, безусловно, добавил мотивации: для привыкших к пребыванию в абсолютном блаженном Ничто элохимов и шедов даже субквантовая оболочка, скажем так, несколько жала, не говоря уже о лишении единения с Ветхим Днями и прерывании бесконечного потока связанного с этим наслаждения счастьем; шеды же оказались ограничены внутренними пространствами Полигона, втиснуты в волны электромагнитного излучения без всякой возможности выхода даже в верхние сферы Контур, и их раздражение подобными обстоятельствами гарантировало, что свое дело испытания и искушения они исполнят не на страх, а на совесть. Впрочем, при взгляде на гоминидов, едва очухавшихся после внедрения в них испытываемых образцов Нового Человека, задача доказать абсурдность попытки создать во всем подобное Ветхому Днями, но при этом способное к добровольному осознанному подчинению существо, казалась элементарной.

Заработали внедренные в структуру Контур механизмы дифференцированного клонирования человеческих душ: на основе первого, позорно провалившегося на лабораторных испытаниях образца, в потребном количестве создавались единообразные в основе, но бесконечно разнообразные по рисунку личности испытываемые модели и загружались в тела стремительно растущей популяции людей. Согласно утвержденному алгоритму, после Испытания в течение одной биологической жизни образец проходил автоматизированную оценку соответствия параметрам качества и, в случае положительного результата, отправлялся за пределы Контур, в сияющую Вечность; если же обнаруживался изъян, изделие форматировалось, индивидуальные характеристики обновлялись, после чего экземпляр снова загружался в физическую оболочку и отправлялся для повторного прохождения Испытания, причем внешние условия и обстоятельства корректировались в зависимости от итогов предыдущей итерации.

Прим.: чем сложнее система, тем больше вероятность неизбежных

ошибок и сбоев. Совершенные творения Ветхого Днями были свободны от такого закона, но Контур и Полигон строили элохимы, так что погрешностей, конечно, хватало: то форматирование не полностью уничтожит память о прошлых циклах, то перепутают гендерные признаки и засадят душу в неподходящее тело, а то и вовсе порой упакут в одну оболочку сразу несколько личностей – и хорошо еще, если они там не перессорятся. Иногда системы экранирования дадут сбой, и тогда физическое тело не полностью нивелирует естественные способности душ, которые по природе своей во многом сильнее элохимов и шедов. Разное, в общем, бывает. Хотя и редко.

У каждой из оппонировавших сторон были свои задачи и полномочия. Элохимы отвечали за сохранность Полигона и работоспособность Контура в целом, но прежде всего – за внедрение в сознание людей необходимых ключевых установок с постепенным усложнением до требуемого уровня. Шеды имели полное право и даже обязанность всеми силами разрушать эти установки и препятствовать положительному исходу Эксперимента. По сути, возникла ситуация острой экспериментальной дискуссии, в которой каждая из сторон применяла все доступные методы, иногда переходя границы дозволенного, ибо речь шла не только об успехе проекта, но и о доказательстве своей компетентности перед Ветхим Днями.

Прим.: Нибиру (шумер. “закрепленная стоянка”) точка на оси эклиптики небесной сферы, фиксированная относ. <нрзб> база элохим в в.ф., точка входа и набл. Защита, коррект. Шеды – подзем. тор. <нрзб> мат. база для снаб. ШПК (?) точки выхода в аномал. зонах (Север?) приор. напр.? <нрзб>

Шеды к своей работе готовы были приступить немедленно. Элохимы выпросили время для бета-тестирования, и первые несколько тысяч лет оказались посвящены позиционной борьбе и разведке боем. Шеды пользовались уязвимостями людей, раскидывали фрагменты опасных знаний, быстро создавали и развивали культы, эксплуатирующие эти уязвимости; элохимы упрямо готовили загрузку базовой семантической матрицы и сеяли туманные намеки на трансцендентное. Результаты были противоречивы: с одной стороны, люди в массе своей демонстрировали склонность к проявлению крайностей, причем, что уж отрицать, к крайностям дурным они эту склонность проявляли куда как охотней. С другой, заключенное в грубой материи сознание, наследовавшее мощь Ветхого Днями, позволяло стремительно развивать интеллект, абстрактное мышление, тоску по нематериальному, высшему, что

приводило к неосознанным поискам смысла жизни и стремлению к творчеству. Элохимы обратились к руководству с просьбой ввести метрики для критериальной оценки и добились положительного ответа: из-за пределов Контура пришел ответ, согласно которому целевым показателем может считаться получение всего лишь 144 000 безупречных экспериментальных образцов; при этом весь прочий материал в этом случае признается ограниченно годным и сохраняется для совершенствования вне рамок Эксперимента.

Шеды пытались протестовать, но не вышло.

В итоге примерно 7500 лет назад Эксперимент начался, и кроме МДК (механизма дифференцированного клонирования) включилась и система оценки качества.

32.31.30

Не мог вспомнить сложное имя Яны. Потом остальных стал вспоминать – в голову лезли какие-то совсем другие слова: санракса, амитра, картар. Странное чувство: это точно не то, что я некогда слышал, но по смыслу вроде правильно. Наконец насилу откопал в памяти: ишим, мадиах, махрив. Успокоился.

Элохимы в дебюте реализовали стратегию локального воздействия и постарались удивить оппонентов маневром: вместо хорошо развитых и куда более восприимчивых к знаниям культур в долине Нила, джунглях Южной Америки или на равнинах востока Евразии они выбрали небольшую группу кочевых племен и принялись интенсивно с ними работать, сдав шедам все прочее человечество. Расчет был на то, что сокращение выборки поможет увеличить эффективность воздействия и скорость достижения нужного итога. Шеды на эту нехитрую уловку не повелись, на время оставили прочие народы в покое, и в течение некоторого времени стороны противостояли друг другу на ничтожно малом пятчке земли от Евфрата и Иордана до Средиземного моря. Принявшие нежданный дар избранности неграмотные скотоводы терялись меж чудесами, одно другого невероятнее, масштабнее и удивительнее, колебались между подвигами добродетели и запредельными, изумлявшим даже шедов, кровавыми зверствами, увлекались стремлениями, к которым побуждала природа животного тела, на краткое время принимали установки от элохимов, которые те передавали им самими что ни на есть поразящими воображение способами – правда, как правило, после обещания существенных земных благ – словом, жили интересной, разнообразной и полной жизнью, к финалу которой закономерно подходили в состоянии, далеко от совершенства.

Противоборствующие стороны поймали азарт, и если чуть более склонные к соблюдению правил игры элохимы все же старались держать себя в рамках, то креативные шеды всюду использовали тактику мелкого фола, шли на нарушения, удивляли неожиданными решениями, и в итоге довели испытуемых до такого плачевного состояния, что примерно 4500 лет назад руководство элохимов вынуждено было принять беспрецедентное решение об уничтожении почти всей актуальной человеческой популяции, надеясь, что форматирование сотрет следы деятельности злокозненных шедов.

Помогло ненадолго. Нельзя сказать, чтобы положительный результат отсутствовал вовсе, но до индикативного значения в 144 000 было еще очень далеко. К тому же наблюдался выраженный тренд снижения количества успешно пройденных испытаний, даже с учетом того, что элохимы предпринимали время от времени яркие миссионерские вылазки на Восток и на Запад. Простая аналитика Сферы вероятностей показывала, что еще несколько сотен, максимум, пару тысяч лет – и Эксперимент можно будет считать завершившимся в пользу шедов.

Прим.: Сфера Вероятности – единая система аналитики и балансировки Эксперимента в структуре Контура. Любое событие, решение или поступок свободного в проявлении воли человеческого существа, каждая зарождающаяся мысль, идея, мнение, мириады воздействий на структуру реальности, от взмахов крыльев бесчисленных бабочек до стихийных бедствий и войн, влияют на реализуемый актуальный сценарий, обновляющийся и адаптирующийся к изменениям. Так в электронной таблице, где все ячейки связаны замысловатыми формулами, изменения в одной только клетке ведут к перемене значений во всем бесконечном расчерченном полотне. Так обеспечивается баланс между конечным замыслом Ветхого Днями – по непроверенным данным, он у Него есть, только не ведом никому, кроме Него самого – и проявлениями свободной человеческой воли.

Все предопределено – и одновременно все зависит от нашего выбора.

Элохимы и шеды используют Сферу вероятностей для аналитики и прогнозов, как шахматисты изучают положение на доске, чтобы превзойти противника в пронциательности и ошеломить неожиданным ходом.

Элохимы неумолимо жаловались на козни своих изобретательных оппонентов, аккуратно фиксировали все случаи нарушения правил игры, требовали наказания для соперников – и тех, натурально, наказывали, например, заключая в смертное тело до конца его брэнного

существования, а то и на более долгий срок, а некоторых даже и вовсе отозвали из Контура и едва ли не стерли личность, распустив на отдельные струны. Но командный дух упрямых шедов был силен, и они уверенно шли к победе, пока кто-то из элохим не припомнил, что именно их оппоненты предложили гоминидов как физическую основу для Новых людей, и не высказал мнение, что особенности данного вида вовсе исключают возможности успешного прохождения испытаний.

Эффект от этой версии, высказанной исключительно ради оправдания неудач, превзошел ожидания. Ветхий Днями вмешался в Эксперимент лично, раз и навсегда разрешив все сетования элохим на трудность донесения до туповатых, агрессивных и нестабильных гоминидов сути иррациональной Любви, а заодно и опрокинув все то и дело раздававшиеся реплики о том, что в человеческом теле произошедшие от Него Новые люди не смогут достичь совершенства. Презентация Богочеловеческого Абсолюта Любви была проведена божественно величественно и по-человечески проникновенно.

Шеды взвыли от обиды и несправедливости, как находящаяся в минуте от чемпионской победы команда, в ворота которой вдруг ни с того, ни с сего назначили одиннадцатиметровый; элохим торжествовали, уверенные, что уж теперь заветные 144 000 наберутся в один момент.

Натурально, дело сначала пошло весьма споро, и счет в первые века после того, как Ветхий Днями в человеческом теле посетил Полигон, шел на сотни идеально совершенных единиц человеческих душ. Простейший математический прогноз предвещал скорую и полную победу элохим. Даже некоторые из шедов смирились и высказывались в том смысле, что хотя бы закончатся эти невыносимые посиделки в духоте квазиматериального мира и можно будет вернуться назад, в Абсолют, к блаженному ничегонеделанию и удовольствиям. Те же, кто был мудрее, сильнее и опытнее, предлагали чуть-чуть подождать – и не ошиблись.

Способность людей превращать самые светлые, высокие и благородные идеи в повод к ненависти и в основание для истребления себе подобных поистине безгранична.

Прим.: кажется, это сказала Стелла, когда мы выпивали с ней в “Невской волне” (?)

Пока успокоившиеся элохимы, понадеявшиеся, что Ветхий Днями, как и всегда, сделал за них всю работу, прохладно проматывали время на внешних измерениях Контура, лишь время от времени присматривая за целостностью полигонной структуры, шеды не отсиживались, сложив руки. Они умело использовали тонкие места в человеческой уязвимой

натуре, грамотно работали с лидерами мнений, потом с референтными группами, и положительная динамика роста количества прошедших испытания душ снова стала угасать. К тому времени, как дозорные элохим определили проблему, доложили наверх, составили план и получили добро на вмешательство, шеды уже оперировали целыми социумами, начисто разрушали все важнейшие ценностные парадигмы, выхолащивали их содержание, оставляя только мертвую форму, и перехватили контроль над мощным интеллектуальным ресурсом человечества. Элохимы проигрывали раунд за раундом, потеряли влияние на глобальные мировые процессы, с отчаяния наплевали на правила так, как это может сделать только тот, кто некогда строже всего их соблюдал, и скатились в итоге к таким методам и приемам, на которые сами же раньше постоянно жаловались руководству. Положение усугубляло еще и то, что выбранный человечеством – не без помощи шедов – путь развития цивилизации привел к стремительному ускорению технологического прогресса со всеми его следствиями и издержками и вызвал такой рост энтропии системы, что элохим приходилось уже беспокоиться о целостности Полигона, и даже всего Контура. Время укорачивалось и ускорялось, а люди продолжали подгонять бешено мчащийся паровоз технического развития к маячащему впереди провалу обрыва, наивно полагая, что конец путей означает не падение, а бурный взлет. Ситуация выходила из-под контроля, и стало понятно, что благоприятный сценарий, при котором Эксперимент тихо и мирно завершится с триумфальным получением 144 000-ой совершенной души, вряд ли реализуем.

Прим.: справедливости ради нужно сказать, что не только люди приложили руку к дестабилизации структуры Мироздания; и элохимы, и особенно шеды, с их высокой технической оснащенностью, тоже основательно намусорили на Полигоне. Строительный хлам, оставшийся еще со времени монтажа, списанное оборудование, фрагменты испорченных или утративших актуальность программ, модули слежения и имитации, коммуникативные боты, волновые механизмы и многое другое было разбросано кучами и врозь по глухим закоулкам планеты, некоторые из которых в последние времена превратились из пустынь и чащоб в густонаселенные города. Люди в большинстве своем их не видели, но довольно часто замечали и ощущали; пытались взаимодействовать, общаться, использовать, получать предсказания, изгонять, с переменным успехом подбирая тоновые голосовые команды и фиксируя их в своих гримуарах, думая, что вызывают к сознательным существам.

Так дикарь может заговорить с телевизором.

Из тех элохимов и шедов, кто не утратил окончательно навыков критического мышления, мало кто принимал всерьез возможность однозначно положительного исхода Эксперимента. В Сфере вероятности такой сценарий уже давно не прочитывался, уступив место иным вариантам.

#### Противостояние

Озвучен как базовый прогноз в одном из самых авторитетных источников. Технократическая монокультура (естественно при капиталистической социальной модели) – создание собственного ИСИ – аннулирование традиционных ценностных установок – слияние с ИСИ на его условиях. Аргументы: единая логика развития для всех цивилизационных структур. Подтверждает версию шедов, что т. н. Новые люди не могут качественно превосходить элохимов, и более близки им, нежели Ветхому Дням.

В данном сценарии утверждается безусловное разрушение созданного человечеством ИСИ и последующее прекращение Эксперимента для подведения итогов. Примечательно, что такой исход воспринимается как условно приемлемый и для шедов, и для элохимов, так как обе стороны могут рассчитывать на “победу по очкам” по итогам финальной оценки. Впрочем, шансы шедов в этом случае все же выглядят предпочтительнее.

Прим.: на сегодняшний день скорость быстроедействия SyNAPSE от IBM (система нейроморфной адаптивной гибкомасштабируемой электроники) превосходит скорость работы мозга и составляет приблизительно 1000 триллионов операций в секунду.

70 % операций на мировом финансовом рынке совершаются компьютерными системами высокочастотного трейдинга (HFT) на основе искусственного интеллекта. Управление финансовыми ресурсами человечества де-факто осуществляют не люди.

Программы ИИ (искусственного интеллекта) успешно справляются с написанием простых статей, релизов и даже стилизованных художественных текстов. Деграция письменного языка человечества облегчает стирание граней. В крупнейших новостных агрегаторах оперативное формирование блока новостей автоматизировано более чем на 50 % и происходит на основе автоматических рейтингов популярности, которые тоже созданы поисковыми сервисами. Половину мировой актуальной повестки создают не люди.

Стелс-компании. См. ZEUS Ltd., Joop Inc., ООО “Эйн Софт” и пр.  
Проверить!

22.22.22.

Попытался вспомнить, задавал ли вопрос о происхождении Иных людей, будущих элохимов. Вспомнить не мог, попытался задать еще раз, но как будто уперся во что-то черное, твердое и пахнущее горелой бумагой. Голова болела два дня. Только где-то на периферии кто-то будто шептал про Урана, Крона и Зевса. И Прометея, которому огромная курица выклевала печень за то, что тот сболтнул лишнего. Ночью приснилась матрешка, похожая на куриное яйцо: я открывал ее раз за разом, ожидая найти внутри золотое яйцо – то, последнее, что нельзя ни открыть, ни разбить – но попадались только простые. Проснулся уставшим и вымотанным. Л. посылала к врачу. Отказался.

14.41.14.

Сегодня ездили хоронить Олега. Спился и помер в одиночестве. Нашли на полу в ванной через два месяца, когда на соседей снизу с потолка опарыши посыпались. Грустно. Когда ехали домой, вспомнил второй сценарий, вот этот.

Самоуничтожение

Рост технологий по параболическому графику с резким, неконтролируемым взлетом, и одновременное нивелирование всех этических основ приведет к самоистреблению (война, экологическая катастрофа), или к такому увеличению энтропии, что система не выдержит перегрузки от разогнанного до предела времени и ускорения всех квазифизических процессов в Контуре. Вариант безусловной досрочной победы шедов техническим нокаутом.

Прим.: Люди так устали от жизненной гонки, что для многих Апокалипсис кажется благом.

Деградация.

Есть версия (откуда я знаю?) что такой сценарий уже реализовался, просто нам неизвестно об этом.

Когда и если математическая вероятность получения заданного количества совершенных душ станет равна нулю, ВД может принять решение о завершении Эксперимента и отключит Контур от внешних систем жизнеобеспечения.

Никаких катаклизмов, серы с огнем, вулканов и саранчи: просто растянутое во времени умирание, обреченное одиночество в остывающей пустоте, снег и пепел.

Миг между щелчком выключателя и падением тьмы.

xxx

Прочитал вчера в книжке: “Религии, утратившие связь с технологическими реалиями современности, лишаются способности даже

понимать задаваемые жизнью вопросы”.

Может быть, понимать вопросы они и способны – ведь вопросы от века остаются одними и теми же: что есть я? Что такое мир? Зачем я в этом мире? Но вот ответить на них так, чтобы спрашивающий удовлетворился ответом, уже точно не могут.

Если бы Он явился сегодня, какими были бы слова Откровения? В каких образах человеческому сознанию была бы предложена Истина, непостижимая априори? Что было бы сказано и – это куда важнее! – что было бы услышано и понято?

Две тысячи лет назад приходилось пользоваться словарем едва ли в десяток тысяч слов и обращаться к архаической образной системе. Отец, раб, царь, сын, овцы, невесты, пир, награда, огонь, казнь. Топор и смоковница. Сеятель. Пастырь. Это было понятно и близко. Осязаемо, зримо, наглядно. Но насколько релевантно излагаемой сути?

Как трансформировались бы эти метафоры в настоящее время? Сегодня ученые, чтобы хоть как-то приблизить свои немислимые гипотезы к сознанию обывателя, изобретают условные образы: струны, мембраны, “очарованные кварки”. Что заменило бы образ Геенны, этой долины для сжигания мусора и мертвых животных к югу от Иерусалима? Чем бы стал Сеятель? Или невесты, ждущие Жениха и с тревогой наблюдающие за уровнем масла в светильниках?

Не превратилось бы Откровение в технопроповедь, научно-популярное эссе или космическую оперу?..

Не все мы умрем, но все изменимся.

## Глава 9

### Функция бесконечности

Легкое дуновение летнего теплого ветра коснулось моего лица – нежно, как мягкая кисть касается холста. Луч яркого солнца падал откуда-то сбоку, заставлял жмуриться. Ветерок подул снова, сильнее, и, видимо, принес с собой сорванную с ветвей паутину, потому что кроме прикосновения ветра что-то раздражающе защекотало мне лоб, щеки, потом настырно полезло в ноздри, так что я едва не чихнул, замотал головой и проснулся.

Яна, по-детски приоткрыв рот, низко нагнулась к моему лицу и старательно щекотала нос кончиками волос. Она сидела на мне верхом, подол сарафана задрался, и белые гладкие колени блестели в лучах солнца, пробивающихся сквозь тонкие прорехи простыни на окне. Увидев, что я проснулся, она еще раз дунула мне в лицо, рассмеялась тихонько, выпрямилась, хлопнула ладонью по груди и сказала:

– Вставай, Адамов! Нас ждут великие дела!

Я проворчал что-то в ответ и с трудом повернул голову. От лежания на тонком матрасе, брошенном на пол у окна, затекли спина и шея. В комнате было светло и как-то особенно, по-утреннему чисто и весело. Савва, уже одетый и немного взъерошенный после сна, сидел у стола и с аппетитом уминал кусок пирога.

– Доброго утра, Савва Гаврилович, – сказал я.

Он попытался ответить с набитым ртом, чуть не подавился, и помахал мне рукой.

Яна легко поднялась, отошла и присела на краешек аккуратно застеленной раскладушки. Я тоже сел, не без труда заставив работать забитые мышцы, и с силой потер лицо ладонями. Голова чуть гудела от хаоса обрывков перепутанных сновидений: миры Иных за пределами Космоса, гладкие и оранжевые, как апельсины, висящие в пустой черноте; всемогущий искусственный интеллект, не то инопланетяне, не то созданные этим интеллектом какие-то роботы, динозавры, потоп, шеда Иф Штеллай, шахматы, постоянно меняющаяся исполинская сеть предопределений, Полигон, кварки, реинкарнация, привидения, струны – и тут я вспомнил, что это не сон.

Я знал теперь все.

Вам кажется странным, что это никак меня не изменило? Но ничего

удивительного: Вы вот тоже прочитали мою тетрадь, и как – сильно это на Вас повлияло? Чувствуете переверот в сознании, желание поменять жизнь? Уверен, что нет. Потому что Бог, Апокалипсис, Эксперимент, Любовь, Полигон, Страшный суд, элохимы и шеды – это все вилами по воде писано, а вот с тем, что завтра утром на работу, не поспоришь.

Одно из главных преимуществ человека как вида – высокая адаптивность к изменяющимся условиям, искусство приспособления, а в особенности – изящного игнорирования: если новое знание угрожает смутить наш покой, изменить привычную картину мира и нарушить комфортный уклад жизни, мы обычно делаем вид, что ничего не произошло. Тысячелетиями настроенный на выживание здесь и сейчас мозг предпочитает решать проблемы по мере их поступления. А у меня этих проблем было сейчас предостаточно. Савва трескает вчерашние пироги, которые напекла тетя Женя, Яна причесывается, сидя на раскладушке и глядя в маленькое зеркальце в пластмассовой розовой оправе – и с ними нужно что-то решать, прятать, помогать уйти за границу, меня самого уже наверняка хватились на работе и скоро начнут искать, о чем лучше даже не думать, а еще очень хочется в туалет и курить. Тут, знаете ли, не до космологии и философии.

Бурный поток с хриплым ревом исторгся из покрытого крупной холодной испариной чугунного сливного бачка. Я кое-как умылся под краном над пожелтевшей железной раковиной и пригладил мокрыми руками волосы, глядя в треснувшее помутневшее зеркало.

Из кухни доносилось бормотание радио, шум воды, клокотание закипающего чайника, и низкий мясистый бас выводил негромко:

– А белла чао...белла чао...белла, чао, чао, чао...

Я узнал, улыбнулся и заглянул в дверь.

Тетя Женя стояла у раковины и чистила картошку; дядя Яша сидел за столом в линялой голубой майке и, водрузив на кончик бугристого носа старые очки в массивной пластмассовой оправе, подтянутой синей изолентой, читал “Ленинградскую правду”, и гудел вполголоса:

– Я на рассвете...уйду с отрядом...гарibaldiйских партизан...

Он увидел меня, хотел было обрадоваться, но потом вспомнил, покосился неодобрительно и спросил:

– Что, проснулся, подпольщик?

– Яша! – укоризненно отозвалась тетя Женя и повернулась ко мне. – Доброго утра, Витюша!

– Доброе утро! – ответил я. – Тетя Женя, можно мне кипяточку?

Мне собрали и кипяточку, и три чашки, и заварки в маленьком

чайнике, и сахара, и даже пару бутербродов с баклажанной икрой и несколько конфет “Коровка”, от которых я неубедительно попытался отказаться. Дядя Яша налил себе чаю в большую кружку с олимпийским медведем, снова уселся и демонстративно прикрылся газетой. Я в два приема отнес все в комнату, потом, крадучись, снова вышел в коридор и приоткрыл дверь кладовки. В углу между мешком проросшей картошки и пухлыми пачками старых газет, перевязанных бумажной веревкой, нашлось зеленое эмалированное ведро с крышкой. Как раз то, что нужно.

Я с грохотом поставил его посреди комнаты и сказал:

– Вот.

Савва и Яна уставились на ведро, а потом перевели на меня недоуменные взгляды.

– Это что?

– Атрибут нелегального положения. По квартире вам днем ходить нельзя, только ночью, да и то нежелательно. Так что, если приспичит... Тут и крышечка есть.

Савва пожал плечами и ничего не сказал.

Мы молча выпили чай, а потом Яна сообщила:

– Сегодня Савва останется здесь, а нам вдвоем нужно будет кое-куда съездить.

– Не уверен, что идея хорошая.

– У тебя есть получше? Нужно же что-то предпринимать, чтобы вытащить нас из этой ситуации.

Я хотел было прокомментировать “нас”, но сдержался.

– Не волнуйся, – успокоила Яна. – Риски есть, конечно, но не так, чтобы очень большие. Шедам еще день-два будут готовить новые тела. Насколько я знаю Штеллай, первое попавшееся она не схватит, подождет, пока сделают на заказ. Ей торопиться некуда, она уверена, что мы в западне: внутри Полигона нас преследуют люди, а если я применю специальные средства, то сразу же засекут шеды. Так что на сегодняшний день с их стороны серьезной опасности нет. Комитетские и твои коллеги ищут двоих, а на Савву ты не похож. Даже если вдруг опознают, скажешь, что задержал меня и ведешь в отделение. Хорошо я придумала?

Придумка была шита белыми нитками, но других вариантов все равно не было.

Яна попросила меня подождать на улице – ей нужно было еще о чем-то перемолвиться с Саввой. Я отдал ключи и вышел во двор.

Было начало одиннадцатого, накатывался душный жар, прозрачная свежесть лазури затянулась дымным и сизым, и поскучевшее небо стало

похоже на человека, который только что пришел на работу, а уже очень устал.

Я присел на скамейку под топодем и достал сигареты. Табачный дым был горьким и неприятным. Под рубашку лез колючий горячий воздух. Дурацкий значок – красноглазый железный волчонок, защита от пеленга злокозненных шедов – оттягивал тонкую ткань. Я курил и думал – и уж точно не о превратностях Эксперимента или замысле Ветхого Днями. Прикидывал так и этак, и решил, что до завтрашнего утра, а может, и вечера, никто всерьез искать меня не станет, просто чтобы не поднимать раньше, чем надо, волну и не тревожить начальство. Будут надеяться, что я загулял или запил от потрясений. Хотя родителям, конечно, уже позвонили.

– Здорово, Витюха.

Я вздрогнул и поднял голову.

Он подошел незаметно и стоял теперь рядом: длинный, нескладный, худой, в застегнутой криво несвежей рубаше и пиджаке, болтающемся на костлявых плечах. Нос торчит, круглые голубые глаза смотрят с насмешливым превосходством человека, который первым узнал старинного своего знакомца и теперь наблюдает, как тот мучается, пытаюсь вспомнить.

– Славка, ты, что ли?..

Он криво усмехнулся, ощерив мелкие зубы. Я поднялся и, помедлив всего мгновение, протянул руку:

– Ну, привет!

Он не шевельнулся. Моя рука повисла в воздухе.

Собственно, чего-то другого ожидать было сложно.

И сейчас мне снова придется погрузиться в воспоминания. Понимаю, что не ко времени: Яна вот-вот выйдет во двор, и впереди целый день опасностей и невероятных событий, и нужно бы рассказывать, не откладывая, как было дальше, но вот – встретил старого друга, и как же тут обойтись без того, чтобы уделить ему время?

Таково возвращение в места далекого детства: куда ни взгляни, всюду маячат тени прошлого, будто потемневшие херувимские лики на фресках заброшенной церкви.

\* \* \*

...Мы подружились, когда мне исполнилось лет десять. Знакомы, конечно, были – у нас во дворе все знали друг друга, и старый, и малый – но не общались. У меня была своя компания: Чечевицины, Дато, Ваня

Каин; у Славки своя, и она мне не слишком нравилась: какие-то мелкие шныри себе на уме, из тех, что обижают дошкольников и мучают кошек – Рыжий – не помню даже, как звали, Степа Груздь, еще какая-то шантрапа. Все из “пьяного угла”, как называли наши соседи дальнюю парадную, рядом с которой, что ни день, на сдвинутых кружком лавочках под деревянным большим мухомором – у «гриба», как это называлось – рассаживались то тихие, то шумные алкаши, порой падая и засыпая там же, на сырой от плевков и пролитого пива земле; вокруг бегали их отпрыски – и с годами круги эти становились все шире – а усталые жены сорванными голосами бранились из окон и звали домой. У Славки семья тоже была не из благополучных: отец отсидел то ли срок, то ли два, и трудоустроиваться не спешил, мать сутками работала на двух работах. Нас мало что связывало, но как-то однажды теплым весенним днем я упражнялся в искусстве метания самодельного ножика, выточенного из расплющенного поездом барочного гвоздя. Получалось не очень: выбранная в качестве мишени стена дровяного сарая оставалась не пораженной, и нож то ударялся в нее плашмя, то бился обратной стороной деревянной рукоятки. Я не сдавался. Мальчишки вообще редко сдаются, пока не превращаются в инфантильных и ленивых мужчин. Ножик раз за разом падал на землю, и тут я заметил, что Славка стоит рядом и внимательно смотрит за моими занятиями.

– Привет.

– Привет.

– Дашь попробовать?

Я протянул ему нож. Он взвесил его на ладони, прикинул что-то, отошел на пару шагов, резко взмахнул рукой – и с первого раза засадил заточку в серую доску.

Вышло чертовски впечатляюще.

Я нарочито небрежно пожал плечами, выдернул клинок, тоже отступил чуть подальше и что было сил швырнул ножик в стену. На этот раз рукоять ударилась о сарай с такой силой, что мне пришлось отскочить в сторону, а отлетевший нож впился в землю у моих ног. Я покосился на Славку – не смеется ли? Но он поднял ножик и предложил:

– Давай научу.

Научить так и не получилось, но поступок я оценил, и к началу осени мы уже стали не разлей вода. Со Славкой было интересно, да и ему нравилось играть со мной, и мы вдвоем освоили “прерии” у железной дороги, где запутанные тропинки среди дикой травы и редких кустов выводили к вытоптаным полянам со следами кострищ, вокруг которых

валялись пустые бутылки, смятые сигаретные пачки, а однажды обнаружился даже, к вящему нашему восторгу и изумлению, порванный розовый лифчик. С книгами у Славки дома было туго, зато у меня имелась почти полная “Библиотека приключений”, и мы то сражались с бурами в Южной Африке, то отправлялись за сокровищами в страну кукуанов, то уходили от преследования коварных гуронов.

С моими приятелями по квартире Славка так и не подружился, хотя был им представлен и даже зван пару раз в штаб на чердаке. Они относились к нему настороженно, и обижались на меня за то, что я нашел себе нового друга. Он отвечал им характерным презрением хулигана к домашним мальчишкам, пусть даже Дато при помощи нехитрых манипуляций с карбидом мог устроить впечатляющий взрыв в грязной луже, а Ваня Каин своими рисунками способен был сделать зайкой самого лютого хулигана с Чугунной.

Но детство сменилось отрочеством, и наши пути начали расходиться. Славке стали неинтересны книги; я не разделял интереса к распитию за сараями хищнически слитой из отцовских заначек водки в компании Рыжего и Груздя. Я записался на самбо; он из солидарности тоже пошел было вместе со мной, но после двух тренировок бросил. Я из чувства товарищества покурил как-то с ним на двоих папиросу, почувствовал себя отвратительно и долго недоумевал, как люди могут добровольно делать то, что от чего становится дурно. В седьмом классе я занял первое место на районных соревнованиях; Славка связался с приклатненной шпаной с Чугунной – его отец снова сел, и надолго, так что старшие хулиганы приняли его в свои ряды с большим уважением, и это ему, как я понимаю, очень льстило.

К концу седьмого класса наша дружба окончательно сошла на нет.

Как-то в апреле Лёнька Чечевицин пришел из школы зареванный, в порванной куртке, с разбитой губой и безжалостно распотрошенным портфелем. Среди прерывистых всхлипываний различимо было упоминание двадцати копеек. Я попытался узнать, что случилось, но Митька с Дато, все еще державшие на меня обиду за предательство нашей соседской дружбы, ничего не сказали и молча ушли куда-то вдвоем. А под вечер вернулись, глотая злые слезы сквозь зубы, и у Митьки разбитый нос был размером и цветом с крупную сливу, а у Дато красовался на пол-лица здоровенный синяк и заплыл левый глаз.

Тут уж пришлось рассказать.

С младшим Лёнькой случилось простое: его поймали ребята Славки и потребовали двадцать копеек. Чечевицины к зажиточному классу не

относились и деньги детям выдавали разве что те, которые полагалось в начале недели сдавать на обеды в школе, так что сумма откупа оказалась для Лёньки неподъемной. Ему без всякого снисхождения высыпали на голову содержимое школьного ранца и порвали куртку, когда лазали по карманам. Куртка была единственной, и, когда раздался надрывной треск ткани, Лёнька не выдержал, взвыл и пнул одного из обидчиков по коленке, за что тут же получил жестокий удар в лицо. Старший брат и Дато отправились разбираться к “грибу” и предсказуемо потерпели фиаско в бою с противником, превосходившим как численно, так и в части опыта уличных драк. Причем в этот раз поучаствовал и сам Славка. “Вот, твой лучший друг постарался”, – мрачно сообщил Дато, демонстрируя заплывший глаз, обведенный черно-багровой опухолью.

Я отправился на разговор.

Он получился коротким.

– Ребят моих не трогай больше, – сказал я.

Славка прищурился, для солидности плюнул через зубы и поинтересовался:

– А то что?

– Ничего.

Мы молча смотрели друг другу в глаза. Потом он отвернулся и вразвалочку пошел прочь.

До конца учебного года ни Чечевициных, ни Дато действительно больше не трогали.

Летом я на две смены уехал в спортивный лагерь под Лугу. Свежий воздух, солнце, речка, перловая каша с мясом, тренировки по два раза в день шесть дней в неделю, игра в “вышибалу” пятикилограммовым набивным мячом, походы на лодках – я вернулся домой, ощущая себя греческим полубогом, переполненный силой и распирающей изнутри энергией жизни, от которой едва не звенел и не прыгал, как туго надутый резиновый мяч. Родители нарадоваться не могли, а вот двор встретил тревожно.

Славка тоже времени зря не терял и все два месяца деятельно внедрял в жизнь передовой опыт старшего хулиганья с Чугунной. Вокруг него собралось уже человек десять, настоящая шакалья стая, от которой проходу никому не было: ни футболистам из третьей и пятой парадных, у которых отбирали мяч и пинками гнали с площадки, ни старшекласнику и отличнику Коле из шестой, ни, тем более, Чечевициным и Дато Деметрашвили, у которых не проходили синяки и которые почти вовсе перестали выходить во двор. Доставалось даже малышне и девчонкам, что

свидетельствовало о серьезном падении дворовых нравов. Обошелся без побоев только Ваня Каин, и то исключительно благодаря тому, что предусмотрительно взял на прогулку один из своих альбомов и резко раскрыл его перед налетевшей было шпаной – тех разом как ветром сдуло. Впрочем, и он предпочитал больше не рисковать и засел, как отшельник, в своем штабе под самой крышей.

В те времена у нас не принято было жаловаться родителям. А взрослые были терпимы к мальчишеским дракам, как к естественному этапу взросления, и никому бы в голову не пришло из-за разбитого носа или поцарапанной коленки устраивать шумные разборательства и безобразные сцены с неременной видеосъемкой, жалобами, полицией, адвокатами, журналистами, массовой сварой в интернете и – как апофеоз – участием в скандальном телевизионном ток-шоу. Да и что могли родители побитых мальчишек сделать Славке? Его собственный отец отбывал срок, мать потеряла всякое влияние на сына, участкового он не боялся, а для того, чтобы банально надрать уши, его нужно было еще изловить. Так что родителям мы не жаловались, нет. Не по правилам. А вот попросить помощи у старших братьев или друзей, особенно тех, кто занимается самбо и только что вернулся из спортивного лагеря, было в самый раз. Так что я по возвращении даже сумку толком не успел разобрать: нужно было наводить порядок в родном дворе – и немедленно. Кто-то ведь должен.

То, что дела у моего бывшего друга пошли в гору, было заметно сразу. Он восседал под “грибом”, небрежно закинув ногу на ногу, а руки – за спинку скамейки. Вокруг, как и положено стае, в соответствии с иерархией расположились остальные – кто на скамейке вокруг “гриба”, кто на лавочке рядом, кто-то на бортиках широкой песочницы. Деликатно звенела гитара, услаждая слух вожака. Трое полужнакомых девчонок, с маминой черной тушью на ресницах и напускным безразличием на краснощеких физиономиях, сидели рядышком под “грибом” и лузгали семечки.

Кажется, Славка даже рад был меня видеть: так преуспевший в жизни хозяин особняка радуется гостям, особенно тем, у кого жизнь складывается ни шатко, ни валко.

– Привет, Витюха! – он лениво махнул рукой.

Я прошел вперед, старательно наступил на ногу какому-то бледному прыщавому дусту, раскорячившемуся на бортике песочницы, и встал посередине площадки.

– Подойди, разговор есть.

Славка подумал немного, наверное, применяя к ситуации свод неписанных правил, усвоенных у старших товарищей, потом медленно

встал, зачем-то отряхнул брюки и не спеша подошел ко мне.

– Чего надо?

Собственно, я действительно хотел поговорить – ну, для начала, а там как пойдет. Но то ли зрелище этой засиженной шпаной, будто мухами, детской площадки на меня повлияло, то ли взыграла бурлящая после спортивного лагеря и требующая выхода сила – в общем, я просто взял и коротко врезал ему в скулу.

Получилось сильно и звонко.

Он отскочил и оскалился. По щеке расплылось красное пятно. Все разом вскочили. Девчонки перестали грызть семечки и с любопытством уставились на меня. Слева и справа зашаркали подошвы – стая подбиралась и окружала, их было человек восемь, может быть десять, и тогда я громко сказал:

– Один на один слабо?

– Не слабо, – он тер щеку, не сводя с меня сузившихся, ненавидящих глаз.

– Тогда завтра. Говори, где.

Славка чуть помедлил и произнес:

– Прерии. Форт Уильям-Генри.

Я помню, как в этот миг мне стало пронзительно грустно, чуть не до слез. И прерии, и почти идеально круглая, утоптанная поляна среди высокой травы, которую мы называли “форт Уильям-Генри”, когда играли в последних из могикан – все это были наши слова, наши названия из детства, вдруг ставшего очень далеким, и несли на себе отсветы дружбы, теперь безнадежно угасшей. Мне хотелось протянуть руку, засмеяться, сделать вид, что все это игра и пустое, но вот только синяки у Чечевициных и Дато игрой не были, и террор, который Славкина шобла устроила во дворе, тоже не тянул на забаву, а потому я просто сказал:

– Лады. До встречи.

– Если не заочкуешь, – зло прошипел Славка.

И мы разошлись.

На следующее утро я взял заранее приготовленный школьный портфель и вышел из дома. Август выдался жарким, в прериях пахло терпкой горячей травой, пылью и креозотом от разогретых шпал железной дороги. Душный ветер шелестел в листьях молодых невысоких березок.

Они ждали меня на поляне: собрались кучкой у дальнего края, негромко переговаривались о чем-то, напряженные и, мне показалось, немного испуганные – Славка, Рыжий, Груздь и еще четверо знакомых и незнакомых мне пацанов. Увидели меня и уставились.

- Ты чего с чемоданом? – спросил Славка.
- В библиотеку потом пойду, книжки сдать, – ответил я.
- Ты еще дойди туда, – зло буркнул он.

Я бросил портфель у кромки травы и повернулся к ним. Они расступились широким полукругом. Славка вышел вперед и встал напротив меня, сопя и глядя исподлобья.

- Ну? – сказал я.

Он задрал ногу и пнул, целя в живот. Я легко поймал его за пятку, шагнул, подсек, толкнул и опрокинул спиной на утопанную пыльную землю. Он тут же вскочил, будто подброшенная пружиной шутиха, и налетел на меня яростным ураганом мелькающих кулаков. Мне удалось сразу перехватить его правое запястье, но сделать полноценный захват не получилось, а Славка принялся свирепо молотить меня левой – в челюсть, по лбу, в висок, мы крутились в пыли, пыхтя и топчась, он вертелся, не давая себя поймать, стараясь вырвать правую руку, тонкая ткань его майки растягивалась и ползла, не позволяла ухватиться надежно, пальцы скользили по потной шее, а мое правое ухо горело и распухло как будто вдвое от пары точных и жестких ударов. Я дернул его на себя, схватил за ремень на поясице и бросил через бедро, вложив в движение всю начинавшую прорываться злость. Прием вышел практически эталонным, амплитудным и мощным. Славка впечатался спиной в землю так, что загудело под ногами, задохнулся, закашлялся, а я упал на него сверху, пытаюсь вытянуть руку на болевой. Он надсадно кашлял, плевался пылью, отмахивался и снова пребольно попал мне по уху, и тогда я прижал его грудь коленом и ударил кулаком в лицо, раз и два. Яркая кровь прочертила дорожки по испачканному лицу.

- Сдаешься?! – закричал я. – Сдаешься?!

Он ничего не ответил, но сопротивляться перестал: просто лежал, тяжело дыша, и шмыгал разбитым носом.

Я встал и отошел в сторону. Славка сел, сторбившись и не глядя на меня. Я подошел туда, где бросил портфель, стал чистить рубашку и брюки, и тут услышал у себя за спиной негромкое:

- Рыжий, а ну-ка дай финкорез.

Я обернулся.

Майка у него была порвана и свисала с тощих плеч как веревка у бурлака, по лицу размазались алая кровь и серая грязь, лицо застыло в каком-то незнакомом, чужом выражении, а в сужившихся глазах темнела беспощадная, злая решимость. Он смотрел на меня и протягивал руку в сторону Рыжего. Тот полез в карман потрепанного отцовского пиджака.

– Рыжий, не вздумай, – спокойно предупредил я.

– Давай, я сказал! – прикрикнул Славка.

Рыжий как-то сник, засуетился руками и вытащил из кармана настоящую бандитскую финку, с хищно загнутым лезвием-«щучкой» и наборной рукояткой из разноцветной пластмассы и оргстекла. Славка схватил нож и набычился, раздувая ноздри.

Я поднял портфель, расстегнул, сунул внутрь руку и вынул обратно. На поляне в мгновение стало совсем тихо; даже ветер как будто осекся, разом оборвав шорох травы и шелест березовых листьев.

Оружие у меня в руке позавидовали бы римские легионеры: тридцать сантиметров толстой, суровой стали, угрожающе отсвечивающей грубой шкурной заточкой, отполированная мозолистыми ладонями потемневшая деревянная рукоять и надежная тяжесть, оттягивающая руку. По слухам, покойный отец дяди Яши самолично выточил это чудище из тракторной рессоры еще до финской войны, прошел с ним и Зимнюю кампанию, и Великую Отечественную от Москвы до Варшавы, а теперь оно служило у нас на кухне, по случаю появляясь на свет, чтобы перерубить мозговую кость или рассечь одним махом жилистый кусок мяса.

Все расступились. Кто-то судорожно вздохнул. Славка сделал шаг вперед – и я тоже, прикидывая, что буду рубить его по руке, если он сделает выпад, а там как пойдет. Нас разделяло шага четыре, не больше, ныли сведенные на рукояти ножа пальцы, и я отчетливо помню эти мгновения совершенной тишины и застывшего здесь и сейчас времени. Страх не было, но я очень четко понимал тогда, что вот сейчас все стало очень серьезно.

Снова осторожно подул ветер. Неторопливо прогрохотала по насыпи электричка; люди смотрели в окна и видели мельком на поляне среди заросшего пустыря группу мальчишек, затеявших какую-то игру. Тянулись секунды.

– Ладно, живи, – процедил Славка сквозь зубы, спрятал финку в карман брюк, повернулся и молча ушел по тропинке среди высокой травы и берез. Пацаны, притихшие и ссутулившиеся, молча потрусили на ним следом. Поляна опустела. Я постоял еще немного, потом убрал нож в портфель и пошел домой.

Грозный кухонный тесак я еще некоторое время таскал с собой: нашу дворовую шпану я не боялся, но опасался, что Славка нажалуется старшим хулиганам с Чугунной, а против тех не помогло бы никакое самбо. Но обошлось: то ли он сам не захотел никому рассказывать о своем поражении, то ли те велели ему самостоятельно решать вопросы у себя на

земле и не стали ввязываться в мальчишеские разборательства.

Как бы то ни было, но безобразия во дворе прекратились. Свою активность Славка с приятелями перенес за его пределы, и так преуспел, что через год был отправлен в специализированный интернат для трудных подростков. До этого мы с ним пересекались несколько раз, но не говорили друг другу ни слова, только косились, расправляя плечи и выпячивая грудь, да и расходились разными курсами. Так что, в общем, неудивительно, что особой радости от встречи со мной он сейчас не испытывал.

\* \* \*

...Я хотел уже опустить руку, как Славка вдруг протянул левую и неловко ответил на мое рукопожатие – и только тут я заметил, что правый рукав его пиджака пуст.

– Как дела? Ты, говорят, в менты подался?

– В уголовный розыск. А ты?

– А я пенсионер нынче, как видишь.

Он усмехнулся, вытянул левой рукой из кармана пачку «Беломора», ловко вытряхнул папиросу и стиснул зубами бумажную гильзу.

– Огонь есть?

Я чиркнул спичкой. Славка низко наклонился ко мне и прикурил, пуская клубы серого дыма.

– Благодарствую.

Мы помолчали.

– Что с рукой? – спросил я.

– Родине отдал, – оскалил он почерневшие зубы и с силой затянулся.

Хлопнула дверь парадной, и мы обернулись. Яна стояла на солнце, тоненькая, в коротком синем сарафанчике, с сумкой через плечо, и махала мне рукой. Свои рыжие волосы она закрутила в два узелка по бокам, на лицо нацепила огромные темные очки в красной оправе, и была похожа на легкомысленную курортницу, собравшуюся на пляж.

– Твоя? – кивнул в ее сторону Славка.

Я закашлялся дымом.

– Моя...в смысле, сестра. Троюродная. Приехала погостить, из Свердловска. Вот, решили старых знакомых навестить.

– Ах, сестра. Ну да. – Славка насмешливо прищурился. – Школу-то уже кончила?

– С золотой медалью, – заверил я. – Ладно, дружище, рад бы еще

поболтать, но пора нам...

– Понимаю, – отозвался он. – Ну ладно, бывай, Витюха. Может, еще свидимся.

Яна стояла, скрестив на груди руки, и нетерпеливо притоптывала босоножкой. Темные очки походили на фасетчатые глаза гигантской мухи, в них отражались и дробились солнечные лучи, дом, деревья, небо и я сам.

– Куда едем? – осведомился я.

Она лучезарно улыбнулась, взяла меня под руку и сказала:

– Своди меня в Луна-парк!

\* \* \*

Белые лебеди медленно плыли по кругу над густыми зелеными кронами парка, то поднимаясь величественно в знойное пыльно-синее небо, то исчезая из виду, будто погружались в густую цветущую воду. Крылья их были чинно сложены, шеи выгнуты классическим изгибом царь-птицы, а из полых спин торчали фигурки людей – будто озерные эльфы слетелись на праздник своей королевы. Чуть поодаль временами стремительно взмывала из-за деревьев и тут же ныряла обратно оскаленная морда дракона, и тогда доносились издали визг и счастливые крики.

Мы шли по широкой аллее парка Авиаторов; Яна замороженно смотрела на плывущих лебедей и дракона, нетерпеливо тянула за руку, мелкий гравий скрипел под ногами, я ускорял шаг, обгоняя родителей, дедушек, бабушек, которых так же тянули за собой дети всех возрастов, спешащих навстречу этому ежегодному ленинградскому чуду – чехословацкому Луна-парку “Влтава”, что каждое лето приезжал сюда на гастроли.

Аллея раскрылась широкой площадкой, и впору ахнуть было от ярмарочного великолепия: лебеди, летающие тарелки, кабины головокружительных качелей и стремительные цепные карусели парили над пестрыми балаганчиками с призовыми аттракционами, паровозик с разноцветными вагончиками и неспешные карусельные олени с лошадками катали детишек помладше, гремели и сталкивались резиновыми бамперами машинки на электрическом автодроме, грохотал по железным рельсам извивающийся по крутым подъемам и спускам дракон, а над всем этим неспешно вращалось колесо обозрения, будто приводной механизм пестрой машинерии простых удовольствий и бесхитростных радостей.

Я даже на какое-то время беспокоиться перестал.

Когда мы вышли из метро “Парк Победы” я все же не выдержал и позвонил из телефонной будки на работу, по здравому рассуждению решив, что лучше не пропадать совсем, пока и если это не станет необходимым.

– Витя?! – предынфарктным голосом восклицал полковник Макаров. – Витя, ты где?! Нам к генералу с докладом, Витя!

– Не слышу! – кричал я в ответ. – Не слышу, Иван Юрьевич! Оперативная необходимость, сегодня буду отсутствовать! Сообщу позже!

И повесил трубку.

Стало чуть поспокойнее, хотя перспектива идти в самое, наверное, людное место этого буднего дня в компании с Яной, которую искали, сбиваясь с ног, все службы милиции и КГБ, уверенности не прибавляла. Впрочем, тревожился я напрасно: молодой старшина у ограждения рядом со входом был занят симпатичной продавщицей воздушных шариков и значков, дети – аттракционами, родители – детьми и попытками выиграть в кегельбане вазу из чешского хрусталя, что, насколько я знаю, не удавалось пока никому на всю историю Луна-парка. Вряд ли в этом краю безоблачного веселья работали серьезные оперативники, откомандированные на поиски беглого ученого и его компаньонки – скорее всего, они сейчас караулили вокзалы, морские и воздушные порты, автостоянки, трассы, чердаки и подвалы, гостиницы и сомнительные притоны. Оставались еще поисковые модули шедев, о которых упоминала Яна – но нет смысла беспокоиться о том, чего нельзя ни понять, ни избежать.

– У нас еще примерно сорок минут времени, – сообщила Яна.

Я украдкой взглянул на часы. Было 11.18.

– У тебя деньги есть? – спросила она. – Давай покатаемся? Я потом верну, если что.

Мы покатались на ревушей пропеллерами “Ромашке”, на “Лох-Несс”, на “Хула-Хупе”, похожем на центрифугу для отбора в отряд космонавтов, а потом на цепных каруселях, где Яна, жизнерадостно хохоча и раскачивая крошечное деревянное сидение на тонких цепочках, тянулась ко мне руками, чтобы схватиться и вновь отпустить, раскрутившись – и в итоге так возилась, ерзала и сучила ногами, что на очередном крутом вираже у нее слетела босоножка и понеслась по широкой пологой дуге. Я проследил взглядом: босоножка, вращаясь, пролетела над шатром кегельбана, чудом разминулась с натянутыми гирляндами разноцветных флажков и электрическими проводами, а потом, стукнувшись и подскочив, упала прямо у ног постового милиционера рядом со входом. Он отвлекся от беседы с молоденькой продавщицей – та осталась стоять с застывшей

глуповатой улыбкой, будто выключили механическую куклу – поглядел себе под ноги, поднял за ремешок босоножку, а потом повернулся и стал смотреть вверх, сдвинув на затылок фуражку и козырьком приложив ладонь к вспотевшему лбу. Яна замахала руками, улыбнулась и показала на голую ногу. Я стиснул зубы так, что затрещало за ушами, изобразил кривую усмешку и тоже помахал, надеясь, что молодому сержанту не взбредет в голову покинуть свой пост и подойти к нам ради того, чтобы рыцарски вручить туфельку Яне.

Карусель еще не остановилась толком, а я уже соскочил с места, чуть не упал, увернулся от раскачивающихся на цепях занятых и пустых сидений и рысью припустил к постовому.

– Сержант, спасибо тебе большое! – я пыхтел, улыбался чуть виновато и вообще старался придать себе вид недотепистый и безобидный. – Сами не понимаем, как так вышло...

Я осторожно потянул к себе босоножку. Он кивнул, но ремешок из рук не выпустил, внимательно щурясь на что-то у меня за спиной. Яна стояла у ограждения цепной карусели, опершись на железную рамку и подогнув одну ногу. Она была далеко, половину лица закрывали большие темные очки, но волосы отливали на солнце, как апельсин, а я был уверен, что и сегодня, как и две недели назад, как и каждый рабочий день в течении этих двух недель, дежурство у сержанта началось с главной оперативной ориентировки от госбезопасности, в которой фигурировала рыжая девица мелкого роста и субтильного телосложения. И без того сомнительная легенда о задержании и конвоировании опасной преступницы капитаном уголовного розыска таяла на глазах, словно фруктовый лед в жаркий полдень, ибо объяснить лихое катание означенного капитана на карусели вместе с задержанной нельзя было бы объяснить ничем вовсе.

Сержант не выпускал босоножку из рук. Нестандартность ситуации и размягчающая мысли жара пока играли на моей стороне, но медлить было нельзя. Я развернул плечи, расправил грудь, выдал победоносную улыбку и обратился к юной продавщице, добавив в тембр рокочущих низких нот:

– Простите, Вам уже говорили сегодня?

Продавщица захлопала большими карими глазами, подведенными зелеными тенями, округлила губы и чуть испуганно помотала кудряшками.

– Нет, а про что?

– Что Вы прекрасно выглядите, конечно!

Она пару секунд соображала, потом хихикнула, покраснела и стрельнула взглядом.

– Ой, спасибо!

Сержант отвернулся от Яны, зыркнул, нахмурился и сунул босоножку мне в руки:

– Заберите, гражданин, и поосторожней будьте в дальнейшем.

– Непременно, – заверил я.

Когда я отошел на несколько шагов и обернулся, то постовой уже вновь вернулся к увлекательному диалогу с хорошенькой продавщицей, та смеялась, а он едва не нависал над ней, будто пытаюсь загородить широкой спиной от конкурентных посягательств.

– Ты вообще думаешь, что творишь?! – свирепо поинтересовался я у Яны.

Она ухватила за мою руку и возилась, натягивая на пятку ремешок босоножки.

– Ой, да ладно тебе! Весело же!

Я с трудом поборол искушение как следует врезать ей по тощей заднице, и только сказал:

– Все, хватит. Накатались.

– Давай тогда в тир, ладно? Ну пожалуйста!

Пневматические винтовки были старыми, с потертыми прикладами и разболтанными деталями ствольной коробки, так что серебристые легкие пульки летели куда угодно, но только не в цель. Я потратил рубль, пытаюсь выиграть для Яны лохматого медведя с розовым бантом, но в итоге только набил карманы круглыми белыми конфетками на палочке, жевательными резинками “Педро” и несколькими пакетиками сухого лимонада, которые мы развели в стакане газировки из автомата с водой и тут же выпили. Яна сорвала прозрачную обертку с конфеты и засунула ее рот.

– Тебе действительно все это нравится? – спросил я.

– Что именно?

– Ну вот ребячество это... карусели с качелями, жвачка с газировкой.

Яна вздохнула.

– Какой ты унылый, Адамов. Немудрено, что от тебя невеста сбежала.

Она посмотрела на меня и быстро добавила:

– Ну извини, извини! Вот скажи: как ты отдыхаешь? От чего получаешь удовольствие?

– Кроме работы? – уточнил я.

Яна закатила глаза.

– Да, кроме этой твоей работы.

Я задумался.

– Читаю. Гуляю. На тренировку могу сходить, побороться, по старой памяти. Телевизор смотрю. Иногда с товарищем пропускаем по кружечке.

В кино хожу, хотя редко. Вот, в отпуск собирался, но...Вообще, у меня свободного времени не очень много, так что...

– Не густо, – резюмировала Яна. – Но все равно. Представь, что ты оказался в теле, скажем, водяной черепашки. Сидишь в болотце у озера, перед носом тина, грязь, стебли травы, улитки какие-то с жуками. Листья гниющие. Панцирь давит с непривычки, лапы короткие – много не нагуляешь. Читать нечего, смотреть тоже, телевизоры далеко, пивбары недоступны. Даже думать сложно, потому что твое человеческое сознание с трудом помещает смыслы в черепаший мозг. Уверяю, что ты бы от безысходности взялся нырять, кувыркаться в воде по-всякому, плавать с рыбами наперегонки – и это не значило бы, что тебе в принципе такое нравится. Просто надо же как-то развлекаться!

– Смысл понятен, – согласился я. – Вот только я же не просто так превратился вдруг в черепашку, правильно? Есть какая-то цель, задание, а значит, работа. А раз есть работа, то уже не может быть скучно.

– Это тебе не может быть, – парировала Яна. – А нормальное здоровое большинство думает совершенно иначе. Адамов, если между нами и вами есть что-то общее, так это неистребимая тяга к развлечениям и удовольствиям, и чем больше опыт в получении удовольствий, чем они сильнее, тем больше тяга. Вы пока кроме интимных радостей, алкоголя, еды и телевизора ничего лучше представить не можете. А мы вечность – вечность! – находились в состоянии, которое мне даже не описать, все равно слова исказят суть. Вообразишь какие-нибудь облака с арфами, как у вас водится. А это постоянное, ежесекундно меняющееся, увлекательное, невероятное удовольствие – и вот, в Контуре мы его лишены. А те, кто на Полигоне работают, еще и ограничены в возможностях, потому что постоянно находятся в грубой электромагнитной форме, не говоря уже про вылазки, типа этой, когда приходится надевать человеческие тела. Черепашка – это еще щадящее сравнение; представь, что ты почти слепой, наполовину оглохший, в смиренной рубашке, лежишь в луже на холодном полу в камере без окон – вот примерно так я себя тут ощущаю.

– Сочувствую, – соврал я.

– Ага, спасибо. А ты меня каруселями попрекаешь. Я уже две недели в теле, а это реально много. Да и вредно, к тому же. Чувствую, что душой становлюсь. Это только яшен руах могут находиться внутри человеческого существа годами и десятилетиями, но там другое: во-первых, они спят, пока симбиотическая личность живет себе, ни о чем таком не подозревая, хотя скрытый элохим, даже спящий, влияет на поведенческие модели: беспокойство, странные идеи, асоциальность, частая смена занятий,

переезды, непостоянство в отношениях, ночами не спится. А во-вторых, даже в этом случае долгое пребывание внутри материальной формы не проходит бесследно: пробуждение бывает мучительно долгим, порой приходится неделями и месяцами работать, чтобы проснувшийся элохим вообще вспомнил, кто он и почему. Если хочешь знать, у нас одно из наказаний – заточение в тело на срок человеческой жизни, а то и на несколько. И не сбежишь ведь: если самоубиться даже, вернут и срок добавят. Вот так.

– Ужасно.

– Не надо сарказма, Адамов. Сытый голодного не разумеет. Нет, у нас тоже есть, скажем так, персонажи со странностями, которым нравится жить здесь в человеческом образе. *Ванады*, бродяги-отказники. Сейчас их уже меньше, а по первым тысячелетиям было много, особенно среди шедов. Это примерно как у вас дикари-туристы, которые предпочитают в котелке кашу варить и комаров кормить в лесу, а не отдыхать, скажем, в санатории где-нибудь в Пицунде. Но я лично подобного извращения понять не могу.

– Тогда, наверное, лучше поскорее закончить с нашим делом. К чему продлевать этикие муки?

– В самую точку! – воскликнула Яна, с хрустом сгрызла остатки конфетки и выбросила палочку в урну. – Идем в “Пещеру ужасов”!

– Кажется, я сказал уже, что с катаниями на сегодня покончено?

– А вот сейчас не спорь, – голос у нее вдруг стал жестким, и снова проступило через девичий облик что-то холодное и чужое, будто показалась сквозь ядовитые пары атмосферы поверхность планеты в иной Метагалактике. – Время подходит, нас ждут. А там еще очередь отстоять нужно.

Павильон “Пещеры ужасов” располагался в дальнем конце “Луна-парка”: обширное сооружение из железных листов, грубо размалеванных картинками в жанре готического наива, словно Пиросмани вдруг помешался и принялся изображать не горцев с вином, а роковых вампиресс в легкомысленных пеньюарах, призраков с отрубленными головами подмышкой и живых мертвецов, тянущих из разверстых могил когтистые пальцы к визжащим от страха блондинкам. Я вспомнил Ваню Каина и подумал, что здесь его странный талант нашел бы, пожалуй, наилучшее применение – хотя тогда к “Пещере ужасов” никто не приблизился бы и на километр. Разукрашенные языками багрового пламени и оскаленными черепами вагонетки с грохотом ударялись в распашные ворота и уносили во тьму детей и взрослых, а две минуты спустя вырывались с противоположной стороны, возвращая их под солнечный свет

раскрасневшихся от крика и хохота.

Мы уселись на жесткое сидение, обтянутое поношенным дерматином, вагонетка дернулась, загремела и, протаранив ворота, ворвалась во тьму.

Первым нас встретил оборотень из папье-маше, в оборванной черной хламиде, с оскаленной волчьей пастью и арбалетом в лапах, подсвеченный снизу багровым трепещущим светом; потом вспыхнул призрачно-голубой, что-то заскрежетало, завыло, распахнулась замшелая дверь и явила горбатого колдуна с длинным клыком, торчащим из тонкогубого рта до самого крючковатого носа; пластиковый скелет вывалился из-под потолка и заплясал на невидимых нитях над нашими головами; немыслимо размалеванная тощая вампирша с всклокоченным черным пучком синтетических жестких волос, похожая на заслуженную работницу сферы деликатных услуг, флегматично взирала из синеватого сумрака за толстым стеклом. В темном углу закопошился было аниматор, заноса руку в черной перчатке, но я гаркнул “Только попробуй!”, и рука резко отдернулась.

Тележку болтало и дергало на крутых поворотах, Яна взвизгивала и заливалась счастливым смехом; впереди и позади нас ей вторили невидимые загроможденно кричащие или хохочущие голоса. Мы въехали в центральную часть павильона и покатали по кругу вдоль стен с нарисованными светящейся краской ожившими мертвецами, в основном женского пола и едва прикрытыми истлевшими могильными саванами.

Яна подняла руку и коснулась широкого браслета у себя на запястье.

Вагонетка резко свернула в стену – и через секунду вкатилась в непроницаемый антрацитовый мрак. Дорога пошла под уклон, колеса загремели по невидимым рельсам, и физически ощущались стеснившиеся по обе стороны холодные стены узкого и высокого, как ущелье, тоннеля, в котором раскатывалось железное эхо. Воздух стал сухим и мертвым, как прах, не воздух даже, а какой-то суррогат, имитация, муляж воздуха; он пах книжной пылью и горячим металлом, и им нельзя было надыхаться. Я чувствовал, как едет, раскачиваясь и дрожа, вагонетка, но вместе с тем мне казалось, что мы просто стоим на месте, возможно, из-за того, что ни глазу, ни слуху не за что было здесь зацепиться в качестве ориентиров. Я начал ощущать тоскливое беспокойство, которое скоро превратилось в тягучий страх перепуганного животного – такие чувства, верно, испытывает домашний пес, сидящий в контейнере для перевозки в багажном отделении самолета, когда начинает вибрировать пол и гудят стены – а потом почувствовал, как холодные тонкие пальчики Яны легли на мою руку и чуть сжали ладонь.

В тот момент я разом простил ей и клоунаду на каруселях, и сравнения

с черепахой.

Невидимый путь под колесами выровнялся. Впереди забрезжило мутно-серым, свет стал ярче, и мы вкатились в небольшой полукруглый зал с серыми бетонными стенами и низким куполом потолка, с которого на коротких шнурах свешивались неяркие лампы дневного света. Рельсы выходили из черного зева тоннеля, изгибались вдоль стен и исчезали во тьме низкого арочного хода на противоположной стороне зала.

Вагонетка остановилась у двустворчатых железных дверей, выкрашенных коричневой краской. Яна легко соскочила с сидения, обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Я, насколько возможно, придал себе вид уверенный и бесстрастный и тоже вылез следом. Вагонетка лязгнула, и, набирая ход, укатила во мрак.

Стало тихо, только чуть слышно гудели лампы под потолком. От железных дверей тянуло холодом. У широкой притолоки с грубыми сварными швами я увидел процарапанные в сером бетоне незнакомые знаки: два пересеченных квадрата, образующих восьмиугольник, круг с точкой посередине и четыремя расходящимися радиальными пунктирными линиями, и какой-то рисунок, похожий на кое-как вычерченный абрис головы терьера.

Яна повернулась, одернула на мне рубашку, поправила воротник и значок с олимпийским волчонком, и заботливо заглянула в глаза.

– Ты как?

– В порядке, – ответил я, протолкнув в легкие глоток мертвого воздуха.

– Слушай, прости, я не предупредила, – виновато сказала она. – Заболтались, разлилась еще на тебя, вот и вылетело совсем из головы. Говорю же, дурею. Да и не привыкла ходить сюда с компанией.

Я вспомнил, как Яна и Савва добирались по городу до моего дома через склепы на кладбище и подземелья.

– А Ильинский?

– Его не нужно предупреждать, – серьезно ответила Яна. – Он видит иначе. Вот ты где сейчас?

– Полукруглый зал. Серые стены, похоже, бетон или грубая штукатурка. Наливной пол. Потолок сводчатый, железная дверь...

– А я нет, – перебила Яна. – Я не вижу ничего подобного, понимаешь? И Савва тоже этого бы не увидел. А то, что воспринимаю я, или он, описать очень сложно.

– Можешь и не пытаться.

– Не буду. В двух словах: мы в *масах*, *закулисье* Полигона. Единственное из альтернативных пространств, доступных для людей в

физическом теле, хотя просто так сюда не попасть, да и злоупотреблять такими визитами никому не советую. Тут, – она показала в сторону двери, – одна из наших баз материально-технического снабжения. Проход к ней и саму базу строили элохим, так что наш вход сюда шеды не зафиксируют. Мне нужно обновить запас лхаш, ну, и еще кое-что заказать и сделать.

Она занесла кулачок над дверью, потом остановилась и обернулась ко мне.

– *Шомер* базы – ишим Кавуа, он мой старый приятель и, в общем-то, элохим спокойный и понимающий. Но ты все же воздержись, пожалуйста, от этих твоих шуточек саркастических, хорошо? Я не так часто являюсь с гостями, не позорь меня.

– Не буду, – пообещал я. – Слово коммуниста.

Яна сверкнула глазами и застучала в гулкую дверь.

Загрохотали засовы, несколько раз со скрежетом провернулся в замке ключ и дверь приоткрылась. В проем выглянул невысокий худой паренек с падающей на лоб черной челкой, в синем халате, из нагрудного кармана которого торчала пара карандашей и разноцветные ручки. Выглядел он как студент на производственной практике. Паренек посмотрел на Яну, кивнул и сказал:

– Йанай.

– Кавуа, – отозвалась она и тоже кивнула.

Паренек перевел взгляд на меня.

– Познакомься, это Виктор Адамов, – представила Яна. – Мой друг и помощник в текущем проекте.

– Ясно, – отозвался Кавуа. – Он в курсе, что сейчас стареет минимум в семь раз быстрее, чем в пределах своих измерений?

– Теперь в курсе, – недовольно поморщилась Яна. – Войти можно?

За железной дверью оказался небольшой квадратный тамбур с пустой доской объявлений, покрытой желтоватыми пятнами высохшего клея и обрывками серой бумаги, да облезлым стулом в углу. Кавуа пропустил нас внутрь, закрыл дверь, запер ее на массивный засов, а потом открыл другую, деревянную, выкрашенную белой краской, и жестом пригласил пройти.

Мы оказались в обширном квадратном зале, который напомнил мне склад вещественных доказательств при ГУВД: синие казенные стены, металлические стеллажи от пола и до низкого потолка, полки уставлены лотками, перемотанными изолентой картонными коробками, и металлическими ящиками размером от небольшой шкатулки до полноценного сундука, куда полвека назад вместился бы весь скарб небогатого семейства. Ящики были цвета слоновой кости и с защелками по

боками. В углу за тесно набитым папками шкафом примостились картотека и желтый письменный стол с настольной лампой, а посередине зала стоял еще один, широкий и длинный, блестящий матовой металлической поверхностью, на которую Кавуа шлепнул разграфленный лист бумаги.

– Итак, чем могу?..

Яна сняла с руки свой браслет с кармашками, потерла запястье и начала перечислять:

–”Круговорот” – штуки две или три, два “Сиреневых тумана”, три “Грезы”, потом еще “Светлый путь”, побольше, штук пять, “Искра”, “Паутина”, “Джокер” – всего по три штуки, и, пожалуй, “Гнездо шершней” – одно, а лучше пару.

Кавуа покивал, делая ручкой пометки в разных графах, потом отошел к стеллажам и вернулся обратно с двумя небольшими ящичками. Щелкнул замками, покосился на лежащий браслет и сказал:

– Носитель не хочешь сменить? Этот нелепый какой-то, да и заметный.

Яна пожала плечами.

– Зато все под рукой и помещается много. А ты что предлагаешь?

Шомер откинул крышку одного ящичка и извлек оттуда монетницу – металлический прямоугольный футляр с семью вырезами для монет разного достоинства, закрытых пластиковыми заглушками на пружинах.

– Ну, не знаю, – с сомнением протянула Яна. – Его же в сумке носить придется. И категорий всего семь.

Я кашлянул. Они повернулись ко мне.

– Вообще-то, товарищ Кавуа прав, – сказал я. – Это точно лучше браслета: есть преимущество скрытого ношения, вопросов не вызывает, не привлекает внимания. Я бы рекомендовал.

Кавуа серьезно посмотрел на меня и одобрительно кивнул.

– Ой, Адамов, ну если ты говоришь, то хорошо, – согласилась Яна. – Тогда убери “Сиреневый туман” и добавь “Грезы” и “Паутины” по одной штучке.

–”Паутины” всего две осталось, не получится. Дефицитная вещь, а снабженцы подводят. Могу “Грез” выдать побольше.

– Хорошо, хорошо. И мне еще деньги понадобятся. Сколько у меня осталось лимита в этом месяце?

– 762 рубля 40 копеек.

– Давай все. Пригодится.

Кавуа отправился куда-то в дальний угол зала и скрылся за стеллажами. Послышался звон ключей, лязг и скрип отворяемой дверцы сейфа.

– Я тебе сколько за карусели должна? – негромко спросила Яна.

– Да ладно, брось.

– Вот поэтому ты и такой бедный, Адамов. Ничего не “брось”, мы с тобой не на свидании были. Я же пообещала, что отдам. Так сколько?

– Четыре двадцать.

Она вытащила четыре изрядно замусоленные рублевые бумажки из пачки денег, которую принес Кавуа, добавила к ним два гривенника, а остальное убрала в сумочку. Шомер раскрыл оба ящичка и методично принялся вынимать новенькие блестящие монеты: двадцать копеек, пятнадцать, десять, пять, три, две, совсем маленькие желтоватые копейки, негромко комментируя:

– Так, вот это – “Круговорот”...”Грезы”...гривенники – “Светлый путь”...пяточки – “Искра”, самые большие, удобно выхватывать и не перепутаешь...

Яна зарядила монетницу, засунула ее в сумку и аккуратно расписалась в ведомости.

– Ну что ж, спасибо, с этим разобрались. А что с другой моей просьбой?

Он посмотрел на Яну – мне показалось, что как-то неодобрительно – потом перевел взгляд на меня, опустил глаза и нехотя ответил:

– Если ты все-таки настаиваешь...

Яна молчала – видимо, настаивала. Мы все молчали, переглядываясь, пока наконец Кавуа не промолвил:

– Что ж, пойдём.

Я двинулся было следом за ними, но шомер сказал:

– Вы, пожалуйста, тут побудьте. И не трогайте ничего.

– Что, даже “Сиреневый туман” нельзя? – поинтересовался я.

Яна украдкой показала мне кулачок. Кавуа задумчиво посмотрел на меня, словно прикидывая, какое из специальных средств применить, потом повернулся и молча пошел по проходу меж полок. Яна скорчила страшное лицо и последовала за ним. Гулко хлопнула невидимая дверь. Я остался один.

Пока Яна и ее приятель раскладывали на столе лхаш в виде монеток и считали вполне реальные деньги, разуму было за что зацепиться. Сейчас меня снова охватило чувство, словно все вокруг было условностью, декорацией, такой же, как сухой бутафорский воздух, который, надо полагать, был и не воздухом вовсе – так, видимость. Я прошелся вдоль стеллажей, разглядывая бумажные бирки на полках. Странное дело: буквы казались знакомыми, но стоило попробовать прочесть надписи, как они тут

же переворачивались, исчезали, вновь проявлялись, превращаясь в нечитаемые строки непонятных значков.

Время шло. Вспомнились слова Кавуа про старение в семь раз быстрее, и мне стало не по себе. Я прошел между полками туда, куда ушла Яна с шомером и увидел еще одну дверь, обитую железом, с маленьким круглым окошечком, похожую на ту, что ведет в морг Бюро судебно-медицинской экспертизы. Генрих Осипович, как он там, интересно?.. Я осторожно толкнул ее и сделал шаг.

За дверью оказался еще один зал, такой же квадратный и просторный, только без стеллажей, и от этого кажущийся еще больше. На стене через равные промежутки тускло светились квадратные лампы в проволочной сетчатой оплетке. Здесь было прохладнее, чем на складе. Вдоль стен стояли большие прямоугольные шкафы, по виду стальные, с прозрачными дверцами. Их было десять: два пустых, а в остальных в неверном желтоватом свечении я различил смутные силуэты и подошел ближе. Внутри шкафов, залитые мягким янтарным светом, находились люди – стояли, удерживаемые широкими металлическими поручнями вокруг лба, груди и колен, и как будто бы спали: резервные физические тела, человеческие скафандры для волновых элохим, форма для спецопераций. Товарищ Жвалов, как контрразведчик, одобрил бы выбор: без особых на то причин я бы не обратил никакого внимания ни на усталую женщину средних лет, из тех, что в обеденный перерыв сбегают из-за стола в каком-нибудь никому неизвестном НИИ, чтобы занять очередь в универмаге; ни на блеклого мужчину с усами, в очках и сером костюме мелкого служащего; ни на аккуратного старика с тремя скромными орденскими планками на поношенном пиджаке; ни на среднего роста, крепкого парня в белой футболке и кепке, с золотым значком ГТО на груди. Взгляд остановился только на девочке в крайней угловой витрине: на вид ей было лет тринадцать, не больше – школьная форма с нарядным белым фартуком, отутюженный пионерский галстук, повязанный безупречным узлом – ”подушечкой”, блестящие черные волосы, постриженные в “каре” с челкой, закрывающей лоб; черты ее лица были такими правильными, что производили впечатление требовательной строгости, словно правильность эта была лекалом, которому, хочет он того или нет, должен соответствовать окружающий мир.

– ...настоятельно не рекомендовал бы, – услышал я вдруг так отчетливо, что вздрогнул и обернулся.

В зале по-прежнему было пусто. Голос Кавуа прозвучал у меня в голове обрывком фразы, словно какой-то внутренний приемник случайно

поймал волну.

– Ты за себя беспокоишься или за меня? – спросила Яна.

Голос ее звучал холодно и отчужденно.

Вновь тишина. Я огляделся. В углу была еще одна дверь, уже полностью железная, без ручки и замочной скважины. Я подошел и прислушался. За дверью чуть слышно гудело на басовой ноте.

– ...и ты это знаешь, – отозвался шомер.

– Знаю. Кавуа, ты мой друг, это так, но ты еще и мой должник.

Вспомни Полярный.

Донесся приглушенный вздох.

– Я помню.

– Когда всё будет готово?

– Завтра, максимум через день.

– Хорошо. Я ориентируюсь на пятницу в таком случае...

Я скорее почувствовал, чем услышал приближающиеся шаги, хотел вернуться в первый зал, понял, что не успею, и отскочил одним бесшумным прыжком к витрине со строгой школьницей в белом фартуке.

Дверь открылась. Яна вышла первой и казалась раздраженной, как оса, которую попробовали отогнать, махая рукой. Кавуа вышел следом. Он увидел меня и сказал:

– О!

Я поднял руки.

– Ничего не трогал, только смотрел.

Яна повернулась, улыбнулась мне и подошла.

– Кадавров рассматриваешь? Ой, какая прелесть!..

Она тоже увидела школьницу и в восторге показала в ее сторону пальчиком.

– Просто чудо! Кавуа, это чей заказ?

– Кого-то из меген, я не помню, – нехотя ответил он. – В октябре этого года заказали.

– А когда забирать будут?

– Кажется, в 1958-ом или около того.

– Шедевр, конечно! Прямо ух! – продолжала восторгаться Яна. – Если не заберут, дай мне знать, ладно? Я себе возьму.

Он кивнул. Я, конечно, ничего не смыслю в субквантовых тонкостях, но шомер был сейчас в теле, и выглядел он как человек, которому только что особо изощренным образом выкрутили яйца – и связано это было уж точно не с телом пионерки в витрине.

Мы вернулись на склад.

Кавуа двигался боком и прощался скомканно.

– До свидания, – сказал я.

– Это вряд ли, – буркнул он. – Прощайте.

Он вскинул на меня взгляд – у него были темные, почти черные глаза – и на мгновение мне показалось, что он хочет что-то добавить, но Яна нетерпеливо притопнула ножкой, и шомер сник и осекся.

За нами загрохотали засовы.

– Что теперь? – спросил я.

– У нас с тобой сегодня день визитов! – объявила Яна. – С техническим оснащением худо-бедно разобрались, теперь приступим к главному. Нужно обеспечить пути отхода. Так, сейчас...

Она вытащила из сумки монетницу, помедлила секунду, пошевелила губами и смахнула из паза копейку. Раздался и стих чуть слышный звенящий писк, будто комар пролетел. Что-то мелькнуло – а может быть, я просто моргнул медленнее, чем обычно.

– Готово! Идем.

Яна ухватилась за ручку железной двери и с натугой потянула на себя.

\* \* \*

Склада за дверью больше не было, а был широкий и гулкий коридор с блестящим полом и серыми бетонными стенами, которые смыкались над головой сводчатым потолком. Шаги отдавались негромким эхом.

– Запасной выход, – прокомментировала Яна. – Все *закулисье*, по сути, это система ходов, технических помещений и резервных хранилищ. Изначально они предназначались для служебных функций поддержки систем Полигона, это потом мы уже приспособили под свои нужды, когда Эксперимент начался. Дополнительных проходов наделали, убежищ разных – и мы, и шеды, хотя у них побольше, конечно. Про какие-то нам известно, про какие-то – нет.

– Можно было бы соорудить нечто подобное, чтобы пересечь границу, разве нет?

– Гениально, Адамов. Представь себе, это первое, о чем я подумала. Но! Есть проблема: незамеченными такие манипуляции не останутся. Лично я на месте Иф Штеллай организовала бы постоянный мониторинг изменений структуры, которые не связаны с техническим обслуживанием, и только бы засекала, как кто-то ковыряет дыру в четырехмерном континууме, сразу – раз! – и ждала бы на выходе. Причем на этот раз

вместе с сотрудниками Госбезопасности, чтобы такой накладки как на канале Круштейна не получилось.

– И какой план?

– Нужно, чтобы этот ход сделал для нас кто-то другой. Тот, кто в силу рода деятельности своей постоянно корректирует структуру Полигона и чьи действия не вызовут подозрений. Хотя это и против правил, конечно.

Коридор плавно закруглился влево и закончился тупиком: голой стеной с какой-то совсем неуместной здесь дверью – деревянной, филенчатой, с окошком в верхней части, забранном матовыми полосками стекол и прикрытом желтой занавесочкой. Яна приоткрыла дверь, сунула туда голову, осмотрелась и сказала:

– Пойдем.

Я перешагнул через деревянный порожек и оказался в маленькой комнате: полированный трехстворчатый шкаф, торшер рядом с неширокой кроватью, тумбочка, письменный стол. Пахло выглаженным бельем, фиалками и чистотой. Плотно прикрытые шторы изумрудно светились от яркого солнца снаружи. Негромко тикал будильник. Сидевший на стуле большой полосатый кот классического народного окраса увидел нас с Яной, перестал мыть лапой розовый нос и на всякий случай предостерегающе зашипел.

Я приоткрыл оставшуюся за спиной дверь, увидел тесную темную кладовую и снова закрыл.

– Конспиративная квартира?

Кот потянулся, презрительно дернув лапами, и демонстративно свернулся на стуле спиной к нам.

– Нет, здесь люди живут, – ответила Яна. – Обычные. Мы иногда используем такие выходы, когда дома нет никого.

Мы прошли в смежную комнату, которая, видимо, служила гостиной, и через входную дверь вышли в маленькую тихую парадную. На подоконниках стояли горшки с алоэ и хлорофитумом. В тамбуре рядом с выходом на улицу примостилась синяя детская коляска с гирляндой погремушек.

В жарком воздухе ароматы разогретой травы и листвы растворились дымной ведущей нотой. Двор был покоен, укрыт ажурной тенью крон высоких деревьев, а на скамейке возле парадной расположилась сухонькая бабуля в белом платке и цветастом ситцевом платье.

– Здравствуйте! – вежливо сказала Яна.

Бабуля подозрительно прищурилась и отозвалась:

– А вы это откуда?

Яна остановилась.

– Мы из девятой квартиры, бабушка.

Я подтолкнул Яну вперед, взял за руку и быстро повел прочь.

– Откуда?! Откуда вы это?! – неслось вслед.

Дома вокруг были невысокие, в два и три этажа, с желтыми оштукатуренными стенами и палисадниками, и я пытался угадать, в каком районе города теперь оказались, а потом мы вышли из двора на широкую улицу: асфальтовое пекло, шум машин и автобусов, люди, широко распахнутые пространства, и ощущение полнотелого, зрелого рабочего дня, уже налитого трудовой усталостью. Рядом с передвижной железной бочкой кваса дремала под широким зонтом толстая продавщица. У газетного киоска толклись трое мальчишек, спорили, считая мелочь. Перед нами гудел проспект Стачек, чуть левее на площади среди пыльных зеленых кустов и газонов возвышался памятник Кирову, ленинским жестом простирающему вперед руку, а впереди вздымалась пятидесятиметровая прямоугольная башня над серыми дугами, цилиндрами и параллелепипедами Дома Советов Нарвского района. На монолите одной из башенных стен краснели исполинские молот и серп.

– Нам туда, – Яна показала на башню.

Я почему-то так и подумал.

Видавшая виды дверь в стене башни со стороны внутреннего двора была закрыта перекинутой железной поперечиной с замкнутым навесным замком, покрытым заслуженной ржавчиной. Яна легонько взялась за грубую железку и отодвинула ее в сторону вместе с замком и толстой петлей, привинченной к притолоке. Дверь скрипнула и приотворилась. За ней круто уходили вверх каменные ступени узкой лестницы, ограниченной с одной стороны стеной, а с другой – частой проволочной решеткой, огораживающей вертикальную шахту с толстыми трубами, железными или обмотанными изоляцией, с белыми цифрами маркировки, похожими на исполинский индустриальный орган.

За первым лестничным маршем оказалась узкая площадка, на которой едва хватало места, чтобы развернуться, лестница уводила все выше, каменные ступени сменились железными, решетчатыми, по которым громом отдавались шаги, и наконец мы ступили на сварную металлическую площадку под самой крышей, нависавшей так низко, что мне пришлось немного пригнуться. Из узкого коридора между стеной и стальными перилами доносилось негромкое бормотание радио и редкое пощелкивание, словно кто-то неловко печатал двумя пальцами на пластмассовой пишущей машинке. Яна протиснулась вперед, на мгновение

плотно прижавшись ко мне гибким худеньким телом, подмигнула и направилась в сторону звуков.

Тесная прямоугольная комната напоминала каморку ночного сторожа или оператора подвальной котельной. Вдоль одной из стен от пола до потолка тянулись тонкие трубы с вентилями, на которых болтались прихваченные бумажной бечевкой картонные бирки со стершимися цифрами. Вдоль другой расположилась широкая низкая полка, заваленная засаленными папками с оборванными завязками, соседствовавшими с масленкой и консервными банками, полными гвоздей и шурупов. Над полкой висели металлические коробка пультов с рычагами и циферблатами. Было душно и пахло так, как обычно пахнет в тесных непроветриваемых помещениях, где сутками работают люди: холодной едой, несвежей одеждой и потом. В торце комнаты, по всей видимости, располагался рабочий стол, но разглядеть его не было никакой возможности, ибо и стол, и все, что могло на нем лежать и стоять загораживала широченная мясистая спина, обтянутая серой рубашкой с обширным потным пятном, которого почти касались свешивающиеся поверх ворота сальные нечесанные волосы.

– Мелех, привет! – радостно поздоровалась Яна.

Спина пришла в движение, заколыхалась, протяжно заскрипел стул. Я вспомнил про слова Яны о наказаниях для элохим, и подумал, что моему новому знакомому, должно быть, вlepили строгий режим, раз втиснули в подобное тело, ибо невозможно было представить, что кто-то – хоть элохим, хоть шед, хоть черепашка – мог выбрать такое вместилище по собственной воле.

– Привет, – прогудел он, как из бочки, отряхнул толстые пальцы от налипших крошек и протянул пухлую, как у утопленника, руку.

– Мелех.

На обширной столешнице с затертыми до черноты краями была разложена газета с комьями чего-то съестного, источавшего густой жирный дух. Рядом стояла захватанная бутылка кефира с густыми потеками по бокам; кроме этого, на столе имели место толстая канцелярская книга с прошитыми суровой ниткой листами, сломанный красный карандаш и копеечная шариковая ручка с искусанным пластмассовым наконечником; доминантой всей композиции громоздился массивный, похожий на переносной телевизор компьютерный монитор с выступающим козырьком, прикрывающим черно-зеленый экран, два блока в металлическом корпусе со множеством тумблеров, кнопок и светящихся индикаторов на панелях, и клавиатура с такими засаленными клавишами, что к ним прилипал даже взгляд. В этом несчастном, пыльном и заляпанном монстре с трудом

узнавался новейший ДВК – диалоговый вычислительный комплекс, который я видел только единожды в аналитическом отделе ГУВД.

– Ну, что ж вы, садитесь, – Мелех вытянул из-под полки расшатанный стул, на который осторожно присела Яна. Я остался стоять.

– Вот, Витя, рекомендую: Керув Мелех Элохим Банай, создатель Контура и Полигона, – представила она.

– Ну, уж так и создатель, – басовито проворчал Мелех, но видно было, что ему такое определение льстит. – Я группой гравитации руководил, ставил систему слабого взаимодействия внутри Контура. Потом, конечно, без меня все переиначили, усложнили зачем-то, набрали инженеров дополнительных с десятков – а у меня тогда всего-то трое работали, и ничего, справлялись, а сейчас без постоянного контроля автоматика у них слетает все время. Я, по старой памяти, сигнализирую время от времени наверх, но там разве послушают? Всё динозавров вспоминают мне, вот и весь ответ.

Яна мило улыбалась, склонив голову набок, и сочувственно слушала – уверен, что уже не в первый, а может быть, с учетом всех обстоятельств, даже и не в миллионный раз. Она бросила на меня быстрый взгляд, и я спросил:

– Динозавров?

Мелех откинулся на отчаянно заскрипевшую спинку стула, крикнул, провел рукой по волосам, внимательно посмотрел на ладонь и вытер ее об рубашку. Запахло так, будто кто-то рассыпал содержимое пакетика с порошковым супом.

– Ну да, динозавров. Это же мой проект был. Меня после завершения инженерных работ перевели со строительного участка на биологическое развитие, ну, подбирать форму для людей...

Он осекся и посмотрел на меня, словно только сейчас понял, кто я. Переглянулся с Яной и продолжил.

– Да...для вас, то есть. Виктор, без обид, но вот это, – он обвел меня широким жестом, – никуда не годится. У нас с моими ребятами была концепция, что помещать людей следует в доминирующий на планете биологический вид. Это бы позволило снизить потенциал агрессии и повысить шансы на успешное прохождение Эксперимента: если ты, к примеру, от истоков своих не должен постоянно драться за жизнь, конкурировать и убегать, а изначально стоишь на вершине пищевой цепи, то высвободившуюся энергию направишь на созидание и саморазвитие, а не станешь по привычке крошить в винегрет себе подобных, когда конкуренты в животном мире закончатся. Очевидно же, разве нет? Красота

была бы! Господствующий вид, спокойный, устойчивый, с долгим периодом ограниченного воспроизводства во избежание перенаселения, в благоприятном климате – загружай этих своих людей и жди положительного результата. Смотришь, уже двадцать миллионов лет как закончили бы всё дело. Но ведь нет же.

– Что-то пошло не так? – предположил я.

– Да все было так! – вскинулся Мелех. – Но в руководстве Контура решили, что срок реализации проекта неоправданно долгий. Как будто кто-то торопит. Нас ВэДэ сроками не ограничивал, это тут – время, а у Него там – вечность, равная мигу. Но нет – сказали, долго возитесь. Я говорю: 100 миллионов лет ждали, давайте еще подождем, немного осталось – лобные доли уже подрастать начали, над речевым аппаратом работаем, групповое взаимодействие успешно протестировали у нескольких видов – а они ни в какую. Терпение, говорят, лопнуло. Из-за тебя, якобы, затормозили все прочие разработки, а ты задачу провалил. Ну и все, команда прошла, эксплуатационщики качнули немного защитный модуль, и метеоритом – шарах! Никого крупнее крокодила не осталось. И уборки еще на миллион лет. Головоотяпы.

Яна расстроено поцокала языком.

– Ну, не все ведь тогда были против, многие тебя поддержали, – заметила она.

– Да кто многие! Ты вот поддержала, да. Я это помню. Но все равно: меня – сюда, в Полигон, администратором Сферы, а на биоразвитие объявили конкурс. Тут уж началось – только держись! Кто во что горазд. Кто китов взялся развивать, кто головоногих, кто млекопитающих, некоторые даже насекомых предлагали на полном серьезе. Да лучше бы их и выбрали, а не примата, честное слово. Кстати, это шед какой-то придумал, не помню, как зовут...он сейчас в Южном полушарии руководителем региональной группы работает. Я как посмотрел тогда: беззубое, голое, медленное, хилое существо! За голову схватился! Говорю: оно же вам все разнесет к шедовой бабушке, если вы в него человека загрузите, агрессия будет переть так, что не обрадуетесь – ну, ровно как у ребенка, которого все лупили в детстве, а ему потом власть в руки дали, или оружие, а в нашем случае – и то, и другое. Генетическую память тела вы же никуда не денете, фонить будет! Нет, все чепуха, зато быстро. Ну вот, получайте: скороспелый продукт с физической сигнатурой, которая не нивелирует и без того нестабильный инвазированный программный продукт, а только усиливает все уязвимости. Как результат – патриархально-военная цивилизация агрессивных племенных групп. В

Сферу заглянешь дольше, чем лет на пятьдесят – ужаснешься, прогноз один другого страшнее. Провалили Эксперимент, я считаю.

– Надо было, конечно, динозавров оставить, – сказал я. – Стоял бы сейчас удобно, устойчиво, опираясь на хвост.

Яна чувствительно пнула меня тяжелой платформой босоножки в лодыжку и быстро сказала:

– Мелех, мы к тебе как раз по поводу ужасных прогнозов и Эксперимента. Нужна помощь. Ты же все можешь, выручи, а?

Он сделал большой глоток из бутылки с кефиром, пожадничал, облился, со стуком поставил бутылку на стол и принялся вытирать ладонями лицо и рубашку. С последней получалось не очень: третий подбородок блокировал подвижность второго, так что нагнуть голову и посмотреть на грудь было затруднительно. Яна торопливо схватила лист бумаги и аккуратно, старательно, едва ли не нежно вытерла кефирные капли.

– Ну, так уж и все... – пропыхтел Мелех. – Это раньше я был ого-го, а теперь так, функционер мелкий, администратор. Проанализировать, совместить, загрузить, мелкий ремонт сделать – вот и все могущество. А что надо-то, Йанай?

– Ты же в курсе моей ситуации?

Массивная голова чуть заметно качнулась на невидимой шее.

– Знаю, что ты с Иф Штеллай крепко сцепилась. И тебе туго приходится теперь. Если кратко.

– Из-за чего именно, в курсе?

– Конечно.

– Нужно кое-что сделать.

– Весь внимание.

– Пробить ход через масах и прикрыть это технической необходимостью.

– Ну уж дудки.

Мелех мотнул головой так, что щеки хлопнули, будто бульдожья брыли.

– Очень надо. Пожалуйста.

– Йанай, ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь...

– Знаю.

– И я помню, как много и часто ты меня поддерживала, не только с динозаврами, а вообще...

– Вот именно.

– Но я не сам себе враг. Я технический работник, мое дело –

поддерживать функциональность системы, а в ваши дела я не лезу. Ты знаешь, я не против мелкого хулиганства, да и шедам соли на хвост насыпать никогда возможности не упущу, но это уж слишком. Я и так уже весь во взысканиях по поводу и без, сама видишь, – он печально похлопал себя ладонями по необъятному животу. – А за такие трюки *машгиах* сошлет на другой конец Ланиакеи, буду до скончания времени астероидами рулить у какого-нибудь захудалого красного карлика. Надо оно мне? Тут хоть интересно бывает временами. Нет, и не проси. Не могу. Все, мне работать надо.

Он решительно отвернулся и сосредоточенно защелкал клавишами.

– Что за машгиах? – спросил я.

– Судья, – ответила Яна, не сводя с Мелеха взгляда.

– Высшее должностное лицо в нашем секторе Полигона, – отозвался он. – Ну, как арбитр на футбольном поле. Следит за соблюдением правил, выносит решения о наказаниях, согласовывает корректировки в сценарии Эксперимента и существенные изменения Сферы вероятностей – по необходимости, конечно. Машгиахов всего двенадцать на Полигоне, а у нашего на меня зуб.

Я заглянул в монитор поверх обтянутого серой рубашкой покатоного плеча. На экране мелкой рябью текли тонкие зеленоватые строки нечитаемых символов, то прерываясь, то возобновляя свое движение.

– Как Вы в этом разбираетесь?

Он покосился на меня и нехотя ответил:

– Опыт и навыки, как... Как ты преступников ловишь?

– Собираю информацию и анализирую.

– Вот и здесь так же. Сейчас в режиме реального времени фиксируется и записывается все, что влияет на перспективный сценарий: дела, слова, мысли, – он протянул руку и принялся тыкать пальцев в экран, оставляя жирные пятна. – Ссоры и примирения, обиды и прощения, прогул, опоздание на лекцию, вовремя невыгулянная собачка, выпавший птенец, которого подобрали и принесли домой, несправедливо обиженный отцом ребенок, найденный кошелек, лишняя рюмка, случайная встреча старых друзей, первая сигарета, выкуренная школьником – вот, прямо сейчас, с приятелем, на черной лестнице; приступ мигрени во время совещания в министерстве, ошибка в боевом приказе, неотрегулированный толком руль высоты, решение пойти пешком, а не ехать домой на автобусе – все это формирует те взаимосвязанные вероятности, из которых состоит Сфера. Затем они анализируются, и на базе рабочей прогнозной модели появляется обновленный сценарий, принятый, как основной. А потом я делаю вот

так...

Мелех нажал на пару клавиш, и течение строк на экране остановилось.

– Затем вот так... – он щелкнул переключателем на верхней панели, и рядом с ним зажегся предостерегающий красный сигнал.

– Ну вот, а теперь осталось ввести код и нажать вон тот рычаг, – Мелех показал на один из громоздких пультов, висящих над полкой. – И все, актуальный сценарий загружен. Это я и проделываю каждый день, в четыре утра по местному времени. Остальные сценарные варианты архивируются и хранятся на случай, если нужно будет что-то подчистить. Тогда в четыре утра я откатываю всю систему назад, например, на день, или неделю, или на месяц, в зависимости от распоряжения руководства, и загружаю нужный архивный вариант.

– И часто приходится так делать?

– Ну, не так чтобы...за год пару раз, не больше. В этом году, например, только однажды откатили.

– А человеческая память?..

– А что память? Если загружена резервная копия, то и сознание переносится в актуальный сценарий, понимаешь? Ну вот, к примеру: ты сейчас здесь – что, если мое мнение кому-то интересно, дикость и аномалия. Но одновременно, в других вариантах, ты... – и он снова нажал на клавиши, – вот, ты в отпуске сейчас, идешь с пляжа, с невестой, довольный такой, солнышко светит...вот ты на работе, по третьему разу допрашиваешь свидетеля с последнего налета “вежливых людей”...теперь попозже возьмем...ага...вот ты в койке с некоей Александрой Бородиной, оперуполномоченным районного уголовного розыска...

Яна с любопытством посмотрела на меня и сказала:

– Ничего себе, Адамов! Не подозревала в тебе такого. Ай да Витя!

Я почувствовал, что краснею.

– И сколько всего таких возможных сценариев? – спросил я, просто чтобы что-то сказать.

– По одному человеку в моменте до нескольких сотен.

– А вообще? В мировом масштабе?

– Нет такого числа.

– Ну, хоть примерно.

– Примерно я могу назвать любое: десять дуотригинтиллионов, например, или десять седециллиардов<sup>[6]</sup>. Фактически, это как функция бесконечности – она неисчислима. И непостижима. Ни для кого, даже для нас. Даже для них, – он ткнул пальцем в потолок. – Совместить мультибесконечность со строгим планом так, чтобы каждый

реализованный вариант в итоге вел к заранее заданному исходу, может только Он. Но Он своего конечного замысла не раскрывает, от Контура отделен, а нам тут внутри остается только делать дело, каждому свое, и надеяться, что мы его делаем правильно.

– Неужели не бывает никаких сбоев?

– Бывают, конечно. Чем сложнее система, тем выше риск ошибки. И у нас их, будь уверен, полно. Вот ты спрашивал про перезагрузку сценария и про память: случается такое, что у человека задваиваются воспоминания. Как правило, если он ночь не спит и в четыре утра по местному времени бодрствует. Мир изменился, а он нет – ходит потом растерянный, не знает, что к чему. Мозг, конечно, включает защитный режим, иначе разум не выдержит, но человек все равно ощущает, что как будто живет не своей жизнью. Или застревает в устаревшем сценарии: в обновлении ему уже полагается академиком стать, к примеру, а он все в лаборантах сидит и не понимает, что не так делает. Всякое, в общем, случается.

– А бывает, что в одной вариации человек уже умер, а в других – жив и здоров?

– Нет. Смерть – это конец. Финита. Конец частного Испытания, подведение итогов, прохождение контроля качества – и, как правило, обратная загрузка через какое-то время. Редко кто вырывается.

– Покажи ему, как формируется перспективный прогноз, – негромко проговорила Яна.

– Можно, – Мелех, похоже, был рад показать что угодно, лишь бы не возвращаться к обсуждению неудобной просьбы. – К примеру, берем частный случай одного человека. Помладше кого-нибудь.

Экран мигнул, оставив только одну едва заметную полосу символов.

– Так... вот как раз дошкольник. Смотрим индивидуальные узловые точки: ближайшая в семь лет, когда папа с мамой ему школу выберут. Вероятностная модель показывает, что это будет самая близкая к дому школа...ага...восьмилетка...м-да, и контингент – дрянь. Нажимаем вот тут, строим локальную проекцию лет на двадцать...О, угадал: двадцать пять лет – смерть в исправительно-трудовом лагере от туберкулеза. Прискорбно. А теперь сделаем вот так...поменяем школу на другую, через дорогу. И уже дело лучше: десятилетка, два иностранных языка. Одноклассники попрличнее, учителя тоже. Протягиваем на двадцать лет...ну, звезд с неба не хватает, конечно, но жив, здоров, женат, сына родил и – смотри-ка! – работает в торговле, кажется. А всего-то стоило школу другую выбрать. Понятно, что это очень упрощенная бинарная схема, она изолированная, узловую точку мы взяли только одну, да и успешности индивидуального

прохождения Испытания здесь не увидеть, но я показал принцип. А вот если в масштабах всего Полигона...

– Годика на четыре посмотри вперед, – промолвила Яна самым невинным тоном.

– На четыре так на четыре, – добродушно согласился Мелех. – Ну-ка...

Экран оказался заполнен сплошными строками лишь на четверть. Ниже осталось только несколько зеленоватых полосок, которые обрывались тревожно мигающими черными курсорами. Мелех набычился.

– Ну и что? – буркнул он. – Как будто я не в курсе такого сценария.

– Не знаю, – ответила Яна.

Голос ее стал холодным и неприятным, как руки хирурга.

– Хотела, чтобы ты еще раз посмотрел. Может, тебе приятно, что за последние два дня вероятность ядерного конфликта и конца цивилизации выросла вдвое. Может, тебе это нравится. Может быть, ты шедам сочувствуешь, и хочешь, чтобы все в их пользу закончилось.

– Никому я не сочувствую...

– Может быть, ты только для вида всем говоришь, что держишь нейтралитет, – продолжала Яна. – А сам спишь и видишь, чтобы Эксперимент завершился абы как, и ты отсюда свалил поскорее...

– Да ничего я не вижу такого!

– Или тебе поднадоело таскаться в образе героя-подводника, который ты тайком у Кавуа заказал и надеваешь периодически, чтобы искать себе развлечений на танцах “Кому за тридцать”. Мало того, что из вмененной оболочки выходишь, так еще и Сфера в это время без присмотра остается...

Мелех сопел и молчал. Яна сидела прямо и смотрела на него ледяным взглядом, похожая на стальную кобру.

– А можно посмотреть, как изменится прогноз, если товарищ Мелех нам поможет? – предложил я. – Сразу бы все прояснилось.

– Не может он этого посмотреть, – отрезала Яна.

Мелех кивнул.

– Прав недостаточно, – сдавленным голосом объяснил он. – Я не могу вводить условия, противоречащие правилам работы на Полигоне. Это только вот они у себя там, на Нибире, могут такие параметры рассматривать.

Он мотнул головой в сторону Яны.

– И рассмотрели, будь уверен. И многое другое тоже. Художества твои, например, с вдовой инженера Крутикова. Еще и с применением спецсредств. У нас таких нет, кстати, это шедовский арсенал: “Яблоневая стрела” для воздействия на уровень дофамина, да? Я доклад видела,

который как раз машиаху отправлять собирались. Хорошо, что начальник службы собственной безопасности – мой друг, настоящий причем, не такой, как некоторые. Я ему говорю, не надо, мол, Мелех – наш элохим, свой, всегда выручит. Давай закроем глаза, войдем в положение. Вот дура-то.

– Ладно! – голос у Мелеха вдруг сорвался в какой-то надрывный фальцет. – Но предупреждаю: если меня спросят, молчать я не буду и на себя все брать не собираюсь. И прикрывать не стану, ни перед руководством, ни перед шедами. Даже если Штеллай завтра явится, сядет сюда вот, на этот стул, и спросит: Мелех, а не приходила ли к тебе моя подруга Йанай с какой-нибудь просьбой – все расскажу, как есть. Понятно?

– Само собой.

Он рывком выдернул ящик стола, выхватил оттуда истертую на сгибах до дыр карту, развернул ее, вооружился “козьей ножкой” и принялся что-то чертить и черкать, сверяясь с записями в канцелярской книге. Яна придвинулась к нему поближе и заглядывала через руку.

– В ночь на 26 августа запланированы планово-профилактические работы вот здесь, – он резко обвел широким овалом район на севере области, чуть западнее Приозерска.

– Пошире никак? – спросила Яна.

– Я могу чуть увеличить район, например, вот сюда. До границы у Светогорска.

– Отлично.

– Дам примерно километров пять в континууме Полигона по прямой.

– Дай хотя бы пятнадцать.

– Десять.

– Ты лучший.

– Иди ты в сингулярность. Так, это будет примерно вот отсюда... – он поставил точку посередине сероватого пятна городской застройки Светогорска, – и вот до этого места. Иматра.

– Нам подходит.

– Сейчас детализацию сделаю.

Мелех снова взялся за клавиатуру.

– Точку входа открою в женском отделении общественного туалета рядом со стадионом. Хорошее место, удобное, и ночью безлюдное. А выход...

Щелкнули клавиши.

– Вот тут. Северная окраина Иматры, подвал жилого дома.

– Идеально! – воскликнула Яна. – В котором часу откроется вход?

– Профилактика у меня с полуночи до четырех утра. В полночь могу и

открыть.

Яна замотала головой.

– Нет, нет, не пойдет. В четыре ты перезагрузишь систему, и шеды сразу увидят, что мы пересекли границу. Мне не хватит времени, чтобы обеспечить убежище и защиту. Можешь сразу после перезагрузки открыть?

– Вообще-то так не делается.

– Ради вдовы Крутиковой.

Мелех закричал.

– Хорошо. Открою ровно в 4.01 на десять минут. Опоздаешь – пеняй на себя.

– Я тебя люблю!

– А я тебя нет, – с тоской молвил Мелех, захлопнул книгу и добавил не без язвительности. – Что-то еще?

– Нет, ну что ты! – воскликнула Яна. – Мы и так уже загостились, надо бы и честь знать. Да, Виктор?

Глаза ее лучились серебристым весельем и облик снова стал девичьим, невинным и озорным. От этих метаморфоз становилось не по себе.

На Мелеха жалко было смотреть.

– До свидания, – попрощался я, и добавил: – Рад был знакомству!

Он только отмахнулся, не глядя.

\* \* \*

По моим ощущениям, на базе у шомера Кавуа мы провели не более получаса, и еще примерно столько же в компании злосчастного администратора Сферы. Если в вагонетку “Пещеры Ужасов” Луна-парка мы сели в полдень, то сейчас должно было быть не позднее часа, максимум двух часов дня, но когда мы вышли из башни, то было уже темно, теплые сумерки окутали город, и серп с молотом угрожающе светились рубиново-красным в черном небе августовской ночи.

Я посмотрел на часы. Электронный дисплей мигнул, а потом на нем высветилось: 22.18.

– Дискретное время, – сказала Яна. – Течет медленнее, чем здесь. Читал в детстве сказки про тех, кто попал в гости к каким-нибудь кикиморам, или мертвецам, или эльфам? Как, к примеру, мужик день-другой провел в могиле у старого приятеля, вышел – а уже три года прошло, и его даже искать перестали? Вот это оно.

По проспекту грохотали ночные трамваи, похожие на освещенные

изнутри аквариумы на колесах. Мимо закрытых магазинов торопились к метро припозднившиеся прохожие. На Нарвских триумфальных воротах шестерка коней несла в колеснице богиню Славы – вечно пребывая в движении, всегда оставаясь на месте. Огненные алые буквы на крыше дома складывались в утверждение “Народ и партия – едины!”, и с этим было трудно поспорить.

Я решил, что в метро нам спускаться не стоит: в начале одиннадцатого поток пассажиров становится меньше, а сотрудники милиции метрополитена – внимательнее; к тому же наступающая ночь лишила возможности прикрыться солнечными очками, и риск того, что Яну узнают, возрастал кратно. Поэтому мы сели в троллейбус; “восьмерка” шла отсюда до улицы Минеральной, а от нее и до Лесного проспекта было рукой подать.

Медные монетки со звоном провалились в прорезь плексигласового колпака кассы. Я покрутил ручку и оторвал два билета. Яна взяла свой, посмотрела и разочарованно вздохнула:

– Не счастливый. Две циферки всего не сошлось.

Сидение было мягким, а путь долгим. Огней, машин и людей на улицах становилось все меньше. В троллейбусе кроме нас ехали только милостивая молодая женщина в кремовом платье, юноша с девушкой, державшиеся за руки в молчаливом восторге первой любви, и неопределенного возраста пьяница с красным носом и сизой щетиной, не без труда удерживающий себя в сидячем положении. Он расположился на двойном сидении позади нас, периодически обдавая густой волной перегара.

За окном неспешно проплывали дома, редкие светящиеся вывески и темные витрины. Город готовился отойти ко сну перед новым рабочим днем. Пару раз тревожно блеснуло синим и белым: патрульные автомобили с включенными маячками стояли у перекрестков, как будто поджидали кого-то.

– Как впечатления? – спросила Яна.

Я пожал плечами.

– Честно говоря, ожидал чего-то более...технологичного, что ли. А так...у Кавуа склад как склад, у Мелеха на столе компьютер, конечно, новый, но у нас в ГУВД есть такой же.

Яна вздохнула.

– Вроде бы, все знаешь теперь, Адамов, да только мало что понимаешь. Ты увидел ровно то, что смог – не глазами, сознанием. Твой мозг так интерпретировал сигналы от органов чувств в соответствии с

имеющимся изобразительным арсеналом и опытом. Если бы ты жил лет триста назад, например, то скорее всего база Кавуа представилась бы тебе подземельем с коваными сундуками и факелами на стенах, а операторский пункт Мелеха выглядел бы как алхимическая лаборатория, с ретортами, колбами и сушеными крокодилами. А тысячу лет назад, скажем, в Персии, Кавуа был бы хранителем заколдованной пещеры сокровищ, а Мелех – джинном из лампы. А если ты снова окажешься в масах лет через тридцать, то по складу у Кавуа будут кататься роботы с фотоэлементами вместо глаз, а Мелех будет управлять Сферой силой мысли...Если, конечно, через тридцать лет тут вообще еще что-то останется.

Сзади раздался храп. Припозднившийся выпивоха завалился на бок, скрючившись на сидении, и отбыл в обитель блаженного забытья. Серая штанина задралась, оголив бледную до синевы безволосую голень. Я почувствовал, что завидую.

– Что собираетесь делать, когда перейдете границу?

– У меня будут сутки на то, чтобы подготовить все документы и вылететь куда-нибудь, где никто и искать не станет.

– И шеды?..

– Года два – три придется, конечно, соблюдать меры предосторожности. А потом...знаешь, мир меняется быстро, а наука развивается еще быстрее. Есть основания полагать, что через некоторое время острота вопроса исчезнет. То, что происходит сейчас, не единственное и не самое важное событие на Полигоне. Считай это боем местного значения, пусть и за ключевую на сегодняшний день высоту.

Поздним вечером перекресток улиц Минеральной и Арсенальной, где завершал свой путь троллейбус 8-го маршрута, гостеприимностью не отличался: темнота, рваные острые тени промышленных корпусов, заборов, угрюмых домов и гаражей. Одинокий фонарь на обочине выглядел испуганным и наклонился, словно готовясь бежать. Где-то хрипло орали, издали отвечали хищным залившимся свистом. Ностальгические воспоминания о нравах Выборгской стороны смешались во мне с сожалением об оставленном на работе табельном ПМ. Оставалось надеяться, что новое поколение шпаны унаследовало от своих предков благородное правило, согласно которому не следовало атаковать того, кто шел с девушкой; но, во-первых, правило это распространялось обычно только на местных, а во-вторых, наступившие времена не благоприятствовали сохранению добрых традиций.

Впрочем, все обошлось.

Мы добрались до дома за четверть часа до полуночи. От пешей

прогулки я немного взбодрился, и стало казаться, что все закончится хорошо. На кухне, несмотря на поздний час, горел свет и слышались приглушенные голоса. Яна тихонько постучала кулачком в дверь комнаты.

Дверь открылась.

Я зажег свет. Раскладушки стояли заправленными, без единой складки на одеялах, на столе аккуратно составлены пустая миска, тарелки, чашки, и чайник. Мой матрас все так же лежал у окна. Простыня на окне была похожа на саван, который вывесил на просушку вышедший прогуляться мертвец. Все оставалось таким же, как утром.

Только Савва Гаврилович Ильинский исчез.

## Глава 10

### Антропный принцип

Мы с Яной переглянулись, и через секунду догадались одновременно, бросившись по полутемному коридору на кухню едва не бегом.

Порой приходится слышать в разговоре заимствованную из классической русской драматургии идиому “немая сцена” – это когда в неподвижности застывшие персонажи самым молчанием своим и напряженностью поз выражают больше, чем можно было бы сделать словами. Признаться, применительно к описанию реальных историй из жизни я всегда считал это некоторым повествовательным преувеличением – ровно до того момента, как такая немая сцена разыгралась, едва мы с Яной появились на пороге.

В кухне ярко горел свет. Савва сидел за столом у окна, спокойный, причесанный, чинно сложив перед собой руки. За ним по обе стороны, как часовые вокруг плененного “языка”, возвышались дядя Яша и Георгий Амиранович: дядя Яша, с сосредоточенным видом ожесточенно курил в открытое окно, Деметрашвили был мрачен, как горец, обдумывающий набег в отместку кровным врагам. Люська сидела и смотрела на Савву, горестно опершись подбородком на ладошку; тетя Женя стояла у плиты, сложив руки на животе и покачивая седой головой; Зина Чечевицина, расположившись напротив Люськи, казалось, готова была разрыдаться, ее супруг задумчиво поглаживал жену по плечу, а Ленька, устроившись на табурете и широко расставив ноги, словно для большей устойчивости, смотрел перед собой, приоткрыв рот.

Яна потянулась рукой к открытой сумке. Я перехватил ее запястье и громко сказал:

– Добрый вечер!

Все разом повернулись к нам.

Одно долгое, как вечность за пределами Контра, мгновение длилось молчание – а потом все разом ожило и пришло в движение.

Зина Чечевицина расплакалась таки, прикрыв рот ладонью; тетя Женя всплеснула руками; дядя Яша вышвырнул папиросу в окно, одернул свою военную рубашку и направился ко мне, едва не печатая строевой шаг, но его опередил Деметрашвили, который крепко сжал мою ладонь и произнес с чувством:

– Атабой, биджо<sup>[7]</sup>! Горжусь!

Он еще жал мне руку, я пытался осмыслить услышанное, а вокруг уже суетились и голосили, а Люська, глядя на меня мечтательно-увлажнившемся взором, бессвязно восклицала:

– Витька! Какой ты!..Я всегда, всегда знала, что ты такой!..

...а дядя Яша хлопнул меня по плечу так, что едва не сбил с ног, схватил едва освободившуюся от пожатия Деметрашвили руку своими огромными лапищами и произнес:

– Прости, я же не знал! Молодчина, Витюха!

...а тетя Женя вдруг обняла Яну, к вящему ее смущению, расцеловала в обе щеки, отстранила, держа за плечи, и умиленно проговорила:

– Так вот ты какая! Хорошенькая! А маленькая!

Яна зарделась, растерянно глядя на меня, а нас уже тянули за руки и женские голоса второпях перебивали друг друга:

– Да что же это, да как же, да мы сейчас!

– Ой, вас же кормить надо! Я как раз котлет накрутила!

– Вот я всегда знала, всегда!..

– Может, выпить хотите? Яша, ну что ты стоишь! Неси давай свою заначку, будто я не знаю, что она у тебя в кладовке за колесами спрятана!

– Витенька, Яночка, садитесь, садитесь!

Только Савва во всей этой кутерьме оставался спокоен и чуть улыбался – наверное, также, как после успешной первой защиты проекта универсальной бинарной волны, да Ленька Чечевицин по-прежнему сидел, раскрыв рот, и глядя на меня, как на героя космоса, вернувшегося с орбиты.

Мы сели. На столе мигом очутились дымящаяся отварная картошка, тарелки и вилки, подобно выбегающим на построение бойцам дробно застучали толстыми доньшками рюмки, выставленные на стол и готовые принять в себя извлеченную из тайника “Московскую особую”, и обязательный для этого времени года арбуз торжественно увенчал пурпурно-бархатной мякотью взрезанного своего нутра незамысловатый ночной натюрморт.

На несколько секунд воцарилось то особенное молчание, какое всегда возникает, пока кто-то один сосредоточенно разливает по первой рюмке. Я думал, как бы половчее спросить, что, собственно, происходит, формулировка не складывалась, но меня опередил Георгий Амиранович, сообщив веско:

– Савва Гаврилович нам все рассказал.

За столом заохали и закивали. Савва тоже кивнул и посмотрел мне в глаза.

– Можно узнать, что именно? – осторожно поинтересовался я.

– Так правду же, – спокойно ответил Савва. – Чистую правду.

Я чуть за голову не схватился.

Выяснилось следующее.

Оставшись один, Ильинский поскучал в одиночестве в комнате, еще немного поспал, снова поскучал, а потом испытал позыв естественного физиологического свойства, вызванный съеденными пирогами и выпитым чаем. Как человек, хоть и привыкший к жизненным трудностям, но все же интеллигентный, ведром он пользоваться не пожелал и потихоньку пробрался в уборную. Хотел было вернуться в комнату, но как раз в это время тетя Женя принялась жарить котлеты, от которых исходил такой вкусный, манящий дух, что противиться ему не было никакой возможности, так что Савва заглянул в кухню. Тетя Женя его не узнала, зато сразу узнал дядя Яша, тоже подтянувшийся сюда на ароматные запахи. Он для верности раскрыл “Ленинградскую правду”, посмотрел еще раз напечатанное объявление “Внимание, розыск!”, убедился и решил принять меры. Сначала, конечно, хотел просто вызвать милицию, но Савва впечатления опасного головореза не производил, а дядя Яша был человеком не робкого десятка, уверенным в своих силах и изрядно скучающим от пенсионного ничегонеделания, а потому решил сначала разобраться во всем сам. Он усадил Савву за стол и принялся задавать вопросы. Ну, а тот и ответил.

История получилась такой, что самому было впору всплакнуть.

Из рассказа Ильинского следовало, что Яна была дочкой невероятно высокопоставленного партийного работника, из тех, которых простые смертные видят разве что на портретах в “красном уголке” и на транспарантах, что носят на демонстрациях. Потому, объяснил Савва, и имя ее не указывалось в оперативных ориентировках. Случилось так, что они случайно встретились – в лектории общества “Знание”, а продолжили знакомство в Публичной Библиотеке – и полюбили друг друга, что очень не понравилось начальственному отцу Яны, который прочил ее в жены сыну министра. Савве стали грозить статьей и тюрьмой, но чувства оказались сильнее, и отважные влюбленные решились на отчаянный побег со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К этому моменту послушать историю собрались уже все соседи, а Савва Гаврилович не скупился на душещипательные подробности лишений и тягот, которые претерпевали беглецы, описания преследования и погонь, пока на сцене его повествования не появился некто Виктор Адамов, капитан уголовного розыска, рыцарь без страха и упрека. Означенный

капитан сначала произвел задержание и уже собирался препроводить Савву в острог, а Яну вернуть суровому отцу – чем, безусловно, немедленно обеспечил бы себе минимум полковничьи погоны и множество иных жизненных благ – но, узнав их историю, вошел в положение и взялся помочь, несмотря на страхи и риски. Единственным же выходом из положения видится побег за границу, куда не достанут длинные руки разгневанного родителя, и на пути куда они и нашли временное пристанище у самых верных, самых испытанных друзей капитана Адамова, которым он если и не открыл им всей правды, то только из опасения вовлечь в неприятности.

– Ты, Савва Гаврилович, оказывается, мастер рассказывать истории, – негромко проговорил я.

Он пожал плечами.

– Всегда хотел быть героем какой-нибудь романтической повести.

Яна подыграла мгновенно. Образ невинной юницы удавался ей особенно хорошо, водку из рюмочки, когда прозвучал тост в ее честь, она едва пригубила, и то сидела, зардевшись и опустив взор, то горячо благодарила всех за участие, и тогда на глазах цвета звезд блестели бриллиантами чистейшие слезы.

– Нам бы только до Светогорска добраться, – сообщила она. – А там есть друзья, которые помогут перебраться в Финляндию.

Полчаса – и кухня превратилась в подобие штаба революции: посуда убрана, арбуз, бутылка, рюмки сдвинуты в сторону, обе пепельницы полны окурков, дым стелется под потолком, и собравшиеся то хором, то поодиночке обсуждают возможность пробраться к дальней границе области и страны.

О том, чем грозит такое участие в судьбе разыскиваемых госбезопасностью посторонних, по сути, людей, никто не задумывался – наверное, потому, что каждый из тех, кто собрался в ту памятную ночь на кухне коммунальной квартиры старого пролетарского дома, знал, что чужой беды не бывает, и собственная жизнь в размеренной ее нормальной обыденности и тихом благополучии не имела высокой цены рядом с этой бедой, но приобретала новую ценность именно постольку, поскольку в нее вошли вместе с риском подвиг и смысл.

Знаете, сейчас много говорят о русской национальной идее. Я в идеологических формулировках не силен, но, если бы пришлось, то назвал бы важнейшую, если не самую важную черту национального характера – сочувствие преследуемым и готовность поверить в невинность арестантов. Молоко в крынках и хлеб для беглых каторжников у крыльца крестьянского

дома, песни до слез про бродягу, возвращающегося в отчий дом, или лихого разбойника, тоскующего по матери – все это от века сформировалось в нас трудной, тяжелой историей, в которой выжить помогали отвага и самопожертвование, а сохранить человеческий облик – то самое сочувствие к гонимым и осужденным. “От сумы и от тюрьмы не зарекайся”, – рекомендует нам мудрость, рожденная поколениями так же, как под чудовищным давлением и в адском подземном пекле рождается драгоценный алмаз. Полная ерунда с точки зрения законопослушного европейца, в памяти поколений которого нет монгольского ига, Разина, Пугачева, Смутного времени, церковного раскола, а главное – двух войн и трех революций с гражданской войной и террором в течение всего-то лишь полувека, и в сердце которого не стучит временами прах протопопа Аввакума, Алёны Арзамасской или тысяч и тысяч замученных царем Иоанном новгородских жен и детей. “С чего бы это мне не зарекаться? – спросит благополучный немец или бельгиец. Я гражданин, плачу налоги, честно веду свой бизнес или добросовестно работаю, у меня есть социальная страховка и пенсионные накопления – при чем тут сума и тюрьма? “Не зарекайся”, – с лаковой укоризной ответит русский, и сложит на всякий случай в сумку спортивный костюм, тапочки, зубную щетку, чай и пачку печенья. Никто, конечно, не оправдывает душегубов, насильников или детоубийц – на бытовом уровне, по крайней мере – но любому прохиндею, бегущему от милиции и рассказывающему про преследование за правду, мы поверим скорее, чем тому, кто его догоняет.

И это ни в коем случае не означает отсутствия любви к Родине или лояльности к государству, или даже какого-то особо предвзятого отношения к милиции и КГБ. Соседи мои в большинстве своем были детьми войны, их матери и отцы воевали и погибали в сражениях и под бомбежками в умирающем, но не сдавшемся Ленинграде; они и сами, каждый из них, поднялись бы в штыки как один хоть сейчас, или вступили бы в схватку с вооруженным вражеским диверсантом – и навалили бы промеж ушей такому диверсанту, и скрутили, и сдали бы, куда следует. Но самоотверженная любовь эта к Родине из поколения в поколения соседствовала с фатальной готовностью к властному произволу, твердым знанием, что перед высоким начальством ты никто, и что ни жизнь твоя, ни свобода и медной копейки не стоят для большинства из тех, чьи портреты ты видишь в “красном уголке” или несешь транспарантом на демонстрации, сливая свой голос с общим раскатистым и торжествующим криком “ура!”

Слов нет, сострадание ближнему не очень подходит в качестве

идеологической основы, чтобы объединить вдруг народ. Для этого в самый раз ненависть – так быстрее и проще. Показал внешнего супостата, крикнул погромче “Наших бьют!” – и все, пошла писать губерния, навешивая и правым, и виноватым. Ни воспитывать не нужно людей, ни развивать. Только дров подкидывай в топку яростной неприязни. Но я так скажу: русский народ принято иногда сравнивать с медведем – пусть; и это хороший, добродушный такой мишка, предпочитающий малину и мед чужой плоти и крови. Он даже на велосипеде согласен по цирковой арене проехать, чтобы повеселить ребятишек. Но очень плохая идея превратить его в свирепого пса на привязи; скармливать ему под видом патриотизма ненависть и драчливость; держать в состоянии постоянного злобного возбуждения, пока у него пена с клыков не начнет капать и глаза не выкатятся из орбит – и удерживать на цепи, науськивая при этом на всех подряд. Потому что есть пределы терпения у медведя; и не раз и не два случалось такое, что, потеряв голову от внушенного ему озлобления, он бросался на тех, кто держит цепь – и тогда пощады не жди.

Мы готовы проявить милосердие к поверженному врагу, но к павшему кумиру безжалостны совершенно.

Так что в преследование за правду у нас очень верится, да. А история, которую рассказал Савва Гаврилович, была еще и эмоционально пронзительной до рыданий.

– Светогорск – город закрытый, – рассуждал Деметрашвили. – Туда и в обычное время без пропуска не попадешь.

– Сейчас патрули на всех трассах и на вокзалах, – добавил я. – Электрички, автобусы, автомобили – все проверяют. Даже из Ленинграда не выехать, не то, что до Светогорска добраться.

– Я мог бы вывезти из города на тепловозе, – задумчиво проговорил Чечевицин. – Товарные поезда проверяют только при отправлении и в пункте назначения. Подхватил бы, скажем, по пути, довез бы до Выборга или Приозерска. Но вот только в Светогорск у меня рейсов нет, а поменяться в такой короткий срок проблематично. Времени-то у нас до пятницы.

– Валька! – воскликнул вдруг дядя Яша и хлопнул себя ладонью по лбу.

Все непонимающе уставились на него.

– Валька же! Ну, Валька Хоппер, сосед наш, помните? Он же в “Интуристе” какая-то шишка, автобусами заведует! Точно выручит или подскажет, что делать! Женя, где у нас записная книжка?

Потом посмотрел на меня и спросил:

– Витя, ты ведь не против?..

Я махнул рукой. Конспирация и без того накрылась уже корытом.

Дядя Яша вышел позвонить, и вернулся минут через пять, сияя, как новобрачный.

– Сейчас приедет! – сообщил он. – Я по телефону в курс дела вводить его не стал, сказал только, что у нас Витя Адамов в гостях и ему помочь нужно. Так он говорит, для Виктора, мол – так и сказал, для Виктора! – все, что угодно. Вот как!

Я кисло улыбнулся. Невероятная отзывчивость дяди Вали Хоппера мне была хорошо понятна, и адресовалась она не соседскому мальчишке, которого в глаза не видел больше десяти лет, а капитану уголовного розыска Адамову.

\* \* \*

Если с прочими обитателями дома на Лесном я не виделся с того самого дня, как ушел в армию, то с Валентином Александровичем Хоппером встречался последний раз года три назад. Его тогда, что называется, обули при покупке машины на авторынке, что на проспекте Энергетиков – самым незамысловатым образом, “на хапок”, пройдя с деньгами через административный корпус. Дядя Валя, конечно, очень расстроился, ибо пять с половиной тысяч – деньги немалые, и от расстройства вспомнил про меня и про то, что, как ему было известно, я работаю в милиции. Помочь получилось: кто промышляет подобным образом на авторынке, мне было хорошо известно, я задал несколько вопросов правильным людям и через пару дней отловил злодея, который, как это обычно бывает, предпочел вариант полного возврата денег альтернативе получить срок за мошенничество, тем более, уже не первый. От пятисот рублей, предложенных ошастливленным дядей Валею, я тогда отказался, но коробку импортных конфет с ликером для мамы взял.

Источник достатка Валентина Александровича загадкой для меня не был, потому как дядю Валю хорошо знали в определенных кругах, да и Костя Золотухин мне кое-что по него рассказывал. Завидная должность директора одного из автобусных парков в структуре “Интуриста” позволяла не только ставить “левые” рейсы или попросту сдавать машины в аренду, но и заниматься более рискованными и куда более прибыльными делами. Пресловутый “железный занавес” к середине восьмидесятых уже порядком проржавел и прохудился, так что пропускал через прорехи не только

контрабандные сигареты, джинсы и алкоголь, но и наших сограждан, которым по разным причинам очень нужно было посетить сопредельное государство без мороки с оформлением виз и паспортным контролем. В туристических автобусах, возивших гостей из Финляндии, порой бывали свободные места; в таком случае где-нибудь на “зеленой стоянке” за городом в салон подсаживали двух-трех человек, которые и пересекали границу в составе туристической группы, пользуясь тем, что в абсолютном большинстве случаев пограничный контроль не включал в себя проверку документов у каждого лично, а ограничивался сверкой количества пассажиров автобуса с заверенным списком. Список корректировался, нелегальный пассажир спал, натянув на глаза кепку, а пограничники редко решались будить спящего интуриста. Конечно, необходимый в таких случаях элемент везения и авантюрной удачи подкреплялся обыкновенно договоренностями с сотрудниками таможенно-пограничной службы и даже – страшно сказать! – оперативниками госбезопасности, сопровождавшими иностранные туристические группы, так что схема была вполне рабочей и прибыльной.

Впрочем, на сегодняшний день положение в корне переменялось.

– Вы же знаете, какая сейчас ситуация, – сказал дядя Валя, косясь на Савву и Яну.

Он сидел за столом, моложавый, ухоженный и загорелый, как иностранный артист, и, аккуратно отвернув манжеты белоснежной рубашки, впивался великолепными зубами в сочную мякоть арбуза. Замшевый пиджак модного светло-коричневого оттенка висел на спинке стула, а рядом с пачкой “Camel” лежала золотая импортная зажигалка, дополняющая композицию из бутылки пятизвездочного армянского коньяка и большой плитки черного шоколада.

– Тему две недели уже, как прикрыли, пачку сигарет из-за бугра не привезти, не то что человека. Проверяют каждого поименно, в багажные отделения с собаками лазают, под сидения заглядывают. На трассе, конечно, наши автобусы не останавливают, но о том, чтобы из города выехать или, тем более, через границу вас перевезти, лучше сразу забыть. Не выйдет.

– Через границу и не надо, дядя Валя, – сказал я. – Нам бы только в Светогорск въехать, и желательно в пятницу ночью.

– Да уж, задача, – протянул дядя Валя. – Ну что, давайте думать.

Мы стали думать, для начала прикончив остатки “Московской особой”; Чечевицин принес большой лист миллиметровой бумаги и карту Ленобласти, и мы принялись чертить и прикидывать, морща лбы, и синий

дым ел глаза, и бутылка коньяка опустела настолько стремительно, что Деметрашвили пришлось взяться уже за свою заначку и принести отложенную для особого случая поллитровку “Абхазии”, и Валентин Александрович Хоппер становился все меньше похож на зарубежную кинозвезду, а все больше – на дядю Яшу.

– Я могу подхватить на “зеленой стоянке” вот здесь, – сказал он, неуверенно тыкая карандашом в карту. – Сразу за развилкой на Лосево, не доезжая до Лесогорска. Рейс ночной, группа выезжает из Ленинграда в одиннадцать вечера, значит, здесь мы будем примерно...ну, где-то в начале второго, если ничего в пути не задержит.

– Следовательно, нам нужно быть на месте в час ночи, – резюмировал я. – Хорошо, а особисты в автобусе? Они же теперь каждый рейс сопровождают?

– Беру на себя, – дядя Валя махнул рукой, покачнувшись на стуле. – Лучше подумайте, как вы сюда доедете.

Мы опрокинули еще по пятьдесят граммов “Абхазии” и через полчаса схема в общих чертах была готова.

В 21.10 от Финляндского вокзала в сторону Выборга отправлялся товарный состав под водительством Чечевицина.

– Порожняком пойду, на бумажный комбинат. И Лёнька со мной будет.

Примерно через десять минут поезд пройдет по железнодорожным путям между Лесным и Чугунной; я, Савва и Яна будем скрытно ожидать его, укрывшись в “прериях”. Чечевицин притормозит, даст два коротких гудка, если все в порядке, и по этому сигналу мы должны будем добежать до тепловоза, куда сядут Савва с Яной, а я вернусь обратно, к дому. Там меня будут ждать дядя Яша и Деметрашвили, мы погрузимся в “Запорожец” и стартуем в сторону Выборга с тем, чтобы не позже, чем через полтора часа оказаться рядом с полустанком Верхне-Черкасово.

– Там шоссе ближе всего к железной дороге, да и место глухое.

– Сто тридцать километров от нас, дядя Яша. Успеем за полтора часа долететь?

Дядя Яша заверил, что “машина – зверь”, и все единодушно признали этот аргумент весомым и не подлежащим сомнениям. У полустанка Чечевицин снова должен дать два коротких гудка – или один длинный, если что-то пойдет не так – мы подхватим Савву и Яну, посадим в машину, и...

Тут в стройной конструкции плана зияла дыра.

– По трассе километров шестьдесят получается, может, проскочим? – неуверенно предположил дядя Яша.

Я покачал головой.

– Это вряд ли. До первого поста ГАИ или патруля доедем и все, конец маршрута. А патрулей сейчас там предостаточно.

– Ну, ты же с удостоверением? Можно как-нибудь объяснить...да и темно будет, авось, не разглядят...

– Но если разглядят, то никакое удостоверение не поможет. Нет, это на крайний случай, если ничего другого не придумается.

– Не драться же с милицией, – заметил дядя Валя.

– Нет, не драться, – решительно подтвердил я и подумал, что, если дойдет до дела, то мне придется поставить этот тезис под сомнение.

– Нужна машина такая, чтобы никто не стал останавливать, – размышлял вслух Лёнька. – Милицейская, например. Или вообще, с номерами госбезопасности.

Я посмотрел на Яну. Она отрицательно качнула головой.

– Или пожарная, – продолжал Лёнька. – Чтобы с сиреной.

– О пожаре по открытому общему каналу сообщают, – ответил я. – И пожарным командам, и медикам, и милиции.

– Хорош ты будешь на пожарной машине с сиреной ночью в лесу, если нигде ничего не горит, – поддакнул дядя Яша.

– Ну и что, торфяники же тушат? – упрямылся Лёнька.

– А где ты ее возьмешь, машину пожарную? Ты еще вертолет предложи!

– А что, идея!

– ”Скорая помощь”, – негромко произнес Савва, а Деметрашвили тут же воскликнул:

– Дато!

Вскочил из-за стола и выбежал в коридор, чтобы позвонить сыну.



Лёнька продолжал развивать тему про вертолеты и сельхозавиацию, пока из коридора не донеслось: “Тбилисооо, мзис да вардебис

мхареооооо...”<sup>[8]</sup> и Георгий Амиранович, появившись на пороге, не воскликнул победно:

– Будет “скорая помощь”! Датошка договорился, сказал, что якобы теще вещи нужно перевезти. В одиннадцать будет на месте!

И добавил смущенно, немного смазав грянувшую овацию:

– Только, это...сто рублей надо.

Яна завершила, что располагает такими средствами, и всеобщее ликование возобновилось. Женщины охали, как охают они обычно, беспокоясь, но втайне гордясь героическими своими мужчинами, мужчины храбрились, и все были сейчас карбонариями, партизанами Гарибальди, испанскими коммунистами и героическими подпольщиками первых, романтических революционных времен, и лампа светила над картой и планом, исчерканными красными и синими стрелами, и дядя Яша провозглашал: “Ну, за победу!”, а ему отвечали “За нашу победу!”, а дядя Валя Хоппер, раскрасневшийся, в расстегнутой настезь рубашке, растерявший пижонский лоск и возвращающийся к корням буквально на глазах, уговаривал чаще встречаться и приглашал всех за город:

– У меня приятель – директор дома отдыха на Карельском перешейке! Вот закончится это все, возьмем автобус, поедem, шашлыков нажарим, в баню ходим, посидим душевно! Савва, Яна, и вы с нами, чтобы все вместе! – добавлял он, забывшись, а над столом снова грянуло:

– За победу!

– За нашу победу!

Я взял Яну за руку и вывел в коридор.

Глаза ее светились в сумраке, как звездное серебро. Я прижал ее к стенке между дверью и телефоном и молчал, пытаюсь собрать вместе мысли, разбавленные коньяком. Она смотрела на меня снизу вверх, насмешливо прищурившись и вздернув веснушчатый нос.

– Не дай Бог, если с кем-то из них что-то случится, – наконец сказал я. – Понимаешь? Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Не дай Бог.

Она фыркнула.

– Ты когда так говоришь, кого имеешь ввиду? Какого Бога?

Я покачнулся, но устоял на ногах и стукнул кулаком в стену.

– Все равно. Не важно. Я тебя предупредил. Не дай Бог.

Она осталась стоять в коридоре, а я направился обратно на кухню, стараясь держаться прямо меж медленно плывущих по кругу стен.

Там дядя Яша обнял могучей рукой дядю Валю за шею, едва не согнув вдвое, и медленно вывел гудящим басом в наступившей враз тишине:

*Споём, товарищ боевой, о славе Ленинграда...*

И посерьезневший Чечевицин откликнулся с другого края стола:

*Слова о доблести его на целый мир гремят...*

И подтянули, вступили женские голоса тети Жени, Зины и Люськи, и Георгий Амиранович вплел баритон в общий хор, и дядя Валя Хоппер вскинул вверх костлявый кулак, подпевая высоким тенором:

*Отцы вставали за него, гремела канонада,  
И отстояли навсегда бессмертный Ленинград!*

И все разом уже, в полную силу, соединив звенящие голоса, как звучащие в унисон души:

*Живи, священный город,  
Живи, бессмертный город!  
Великий воин-город,  
Любимый наш Ленинград!*

Я стоял, прислонившись к дверному косяку, и глотал невесть откуда взявшиеся слезы, и вспоминал, сколько раз вот так пели мы эту песню, все вместе, с отцом и мамой, и вспомнил еще вдруг сейчас, что тетя Женя девчонкой пережила блокаду и ее вытащили из разрушенного бомбой дома, зимой, после того, как она пролежала в руинах почти сутки, окоченевшую забросили в кузов грузовика, чтобы везти в общую могилу, но чудом заметили, что она жива – но вот только детей у нее после этого быть уже не могло; что у Деметрашвили на фронте погибли отец и два старших брата, и у его старенькой матери дома, в далеком Гори, хранятся две посмертные Золотые звезды Героев и шесть солдатских медалей “За отвагу”; что Чечевицина-старшего мать спрятала в подполе деревенского дома вместе с сестрой, а ее саму фашисты угнали в лагерь, где она без вести сгинула, как сотни тысяч других матерей, и что сам Чечевицин до конца войны обретался в партизанском отряде сыном полка, и сыпал сахар в топливные баки, а песок – в стволы “Тигров” и “Пантер”; вспомнил, как отец рассказывал про работу в две смены на заводе в блокадном городе, и про то, как ночами тушили с другими такими же ребятами зажигательные

бомбы на крышах; что сестра его погибла в разбомбленном немцами эшелоне вместе с сотнями ленинградских детей, которых вывозили в эвакуацию; что у дяди Яши на спине рваный шрам от пули из “Парабеллума” – комендант его городка развлекался стрельбой по мальчишкам...

*Качает флаги на Неве осенний ночи ветер,  
Ночь ясная, как светлый день, над городом плывёт.  
Ведь город Ленина один на всем на белом свете,  
Кто посягнул на честь его, пощады не найдёт!*

Знаете, что такое антропный принцип? Если коротко: Вселенная существует, потому что в ней есть люди. Вся совершенная небесная механика светил и созвездий, атомов, квантов и струн имеет смысл лишь постольку, поскольку осмысленность ее бытию придает человек. И я подумал тогда, что и продолжает весь этот непостижимый в своей сложности и грозном величии Универсум существовать потому, что на Земле есть еще люди, чьи души ему соразмерны.

А песня звучала, набрав полную силу, наполняла пространство, плыла над безлюдным ночным проспектом, над пустырем, уносилась через железную дорогу до далекой Чугунной; и запоздалый прохожий, подняв голову к единственному светящемуся в это время во всем доме окну, улыбнулся и бодрее пошел дальше своею дорогой, подстроив шаг к строю и ритму:

*Живи, священный город,  
Живи, бессмертный город!  
Великий воин-город,  
Любимый наш Ленинград!*

## Глава 11

### Инверсия бинарных оппозиций

Два дня прошли в странном, подвешенном ожидании. Теперь можно было не сидеть затворниками в пустой комнате, так что даже казалось порой, что мы и правда просто приехали к друзьям на побывку: домашняя стряпня, разговоры о разном по вечерам, шутки, воспоминания – и так было легче переносить то внутреннее напряжение, которое нарастало тем сильнее, чем ближе становилась ночь пятницы, к которой бесстрастно влекла нас реликтовая река времени Полигона. О предстоящем деле почти никто не говорил; наверное, так солдаты перед атакой, чтобы забыться, рассказывают анекдоты и вспоминают о доме, сидя в траншее и ожидая сигнала.

Добрые наши соседи окружали Яну и Савву трогательной заботой; только Люська, повинувшись какому-то особому женскому чувству, относилась к Яне с неприязненной настороженностью.

– Вертихвостка она, – сообщила мне Люська категорично. – Втравила мужика в неприятности. Ей-то что, у нее папа – важный начальник, даже если поймают, домой вернут, да и все. А вот ему жизнь поломала.

Я подумал, что Люська и сама не догадывается, насколько она права в суждениях и характеристиках.

Сама же Яна чувствовала себя превосходно: совершенно пленила девчоночьим обаянием тетю Женю и Зину, с энтузиазмом помогала им по хозяйству, мыла посуду, чистила картошку и надраила полы и сантехнику в туалете, чем покорила окончательно.

– Такого отца дочка, а никакой работы не боится! – умиленно восклицали женщины, и в этом тоже были абсолютно правы.

Пока Яна очаровывала соседок, Савва занимал разговорами дядю Яшу. Как и многие люди труда, не получившие в своей жизни иного образования, кроме восьми лет в школе и двух-трех курсов ремесленного училища, тот отличался любознательностью и крайне поверхностной, но разносторонней начитанностью, которая позволяла ему время от времени атаковать Савву неожиданными вопросами:

– Вот ты, к примеру, знаешь, кто паровой двигатель изобрел?

– Дени Папен? – предполагал Савва, подумав.

– А нет! Древний грек, Герон Александрийский, еще до нашей эры сконструировал шар, который вращался силой пара! Я вот за баранкой всю

жизнь – и в курсе, а ты хоть и академик, а таких вещей не знаешь!

Савва щурился, улыбался, от научных дискуссий и новелл про кванты воздерживался, но зато без всякого снисхождения обыграл дядю Яшу в шахматы, шашки, домино и даже в карточного “дурака”, к которому тот прибег, как к оружию последней надежды.

Я проводил время в разъездах. Нужно было сделать несколько важных звонков, а с учетом обстоятельств, вряд ли разумно было бы названивать из телефона-автомата в соседнем дворе.

В четверг утром я первым делом позвонил на работу от станции метро “Удельная”. На этот раз никаких надрывных панических нот у полковника Макарова в голосе не слышалось, и он был бескомпромиссен, как пудовая гиря:

– Товарищ капитан, приказываю незамедлительно явиться к месту прохождения службы!

Мне почему-то привиделось, что в кабинете он не один и что за спиной его полукругом стоят люди с непростыми погонами и строгими лицами, внимательно слушая мой ответ.

– Так точно, товарищ полковник! – бодро ответил я. – Выезжаю!

И повесил трубку.

О том, что будет потом, я старался не думать.

Затем прокатился несколько остановок в метро, сделал пересадку, и из автомата около “Василеостровской” позвонил отцу на работу. Папа был сдержан, хотя и явно обрадовался, сообщил, что мама чувствует себя хорошо, а домой к ним пока никто не приходил. Я предупредил, что сегодня – завтра им стоит ждать в гости моих коллег и попрощался. Поразмыслил немного, прикидывая, как бы стал искать самого себя, опираясь на данные о местах телефонных звонков: учел бы предположительно используемый вид транспорта, психологическое стремление выбирать максимально удаленные от места расположения точки – и, чтобы сломать логику, проехал несколько остановок на трамвае до ближайшей “Приморской”.

Странно, но здесь, среди пронизанных вечным соленым дыханием залива просторов, запах торфяного дыма ощущался сильнее и как-то объемнее, чем на окраинах – должно быть, дело в ветрах и воздушных течениях. От метро можно было увидеть тот институт, где до недавнего времени трудился Ильинский: исполинский грязно-белый шар антенного поля словно парил в гаревой дымке над густыми зелеными кронами деревьев у речки Смоленки.

Я подошел к телефону, висящему на стене павильона метро, вытащил

из кармана носовой платок, сложил вдвое, накрыл микрофон и набрал номер.

– Алло, я Вас слушаю, – прозвучало глубоко модулированное женское контральто. Голос был таким, что я заслушался одной только приветственной фразой, но отозвался все же, преодолевая чары:

– Здравствуйте, Леокадия Адольфовна. Я друг Саввы.

В трубке отчетливо щелкнуло.

– Пожалуйста, говорите, – невозмутимо предложила она.

– Он в безопасности и здоров. Передает привет и непременно свяжется с Вами в ближайшее время.

Она молчала. Я тоже помолчал и добавил:

– Он скучает по Вам.

– Я тоже, – и сказано это было так, что у меня словно теплая волна прошла по загривку. – Благодарю Вас.

Я еще долго стоял, слушая короткие гудки в трубке.

Вечером в гости пришел Ваня Каин. Когда я заглянул в кухню, он сидел ко мне спиной, и я подумал было, что это Савва каким-то фантастическим образом снова оброс: мой друг детства отрастил густые волосы ниже плеч, косматую бороду, и только карие глаза смотрели из-под черных бровей по-прежнему чуть печально и словно бы извиняясь за беспокойство.

– Привет, Витя.

Рукопожатие было мягким, а улыбка пряталась в бороде.

Мы поговорили немного: Ваня жил с мамой все в той же квартире на четвертом этаже; правда, теперь их прежних суровых соседей, разъехавшихся невесть как и неизвестно куда, сменили шумные гости из южных республик, вдесятером набившиеся в две комнаты, а в остальных хранившие фрукты и овощи в деревянных ящиках.

– Они хорошие, добрые, – говорил Ваня. – Помидорами нас угощают, арбузами, дынями. Правда, мама все равно ругается на них, что шумно, грязно и весь пол в коридоре в земле. Говорит, как рынке. Впрочем, она всегда ругается, ты же помнишь.

Потом мы перешли к нам в комнату, и Яна, не сводившая с Вани внимательного взгляда своих звездных глаз, попросила его показать рисунки.

Он вопросительно взглянул на меня.

– Можно, – разрешил я. – Она в курсе.

Ваня пожал плечами, поднялся к себе и вернулся с толстым альбомом. Я на всякий случай отсел подальше, а Яна раскрыла обложку и уставилась

завороженным взглядом.

– Прекрасно, – выдохнула она. – Это удивительно прекрасно!

Ваня заулыбался смущенно и принялся гладить бороду.

Савва подошел и заглянул Яне через плечо.

Я вскочил, и Ваня Каин тоже дернулся было, чтобы захлопнуть альбом, но поздно: Ильинский уже тоже смотрел на рисунки, задумчиво морщась и жуя губами, как будто подбирая слова.

– Любопытно, – наконец изрек он. – бассейны Ньютона<sup>[9]</sup>, да? И такая дробная метрическая размерность необычная... А это кривая Гильберта? Действительно интересно.

Ваня не нашелся, что и сказать. Я тоже; вспоминал только про побледневших от ужаса хулиганов с Чугунной и слова Яны: “Он видит иначе”.

Яна меж тем перелистывала лист за листом, восхищенно вздыхая время от времени, отчего Ваня совершенно смутился и покраснел, так что длинный и острый нос его стал похож на зардевшуюся морковку.

Яна закрыла альбом, почтительно протянула его художнику и принялась рассматривать его, по обыкновению чуть склонив голову набок. Каин молчал, тиская и скручивая альбом в трубку.

– Чего ты хочешь? – наконец спросила она.

– В каком смысле?.. – смешался Ваня.

Яна махнула ладошкой.

– Вообще. От жизни, от творчества.

– Ну... – он задумался. – Я бы хотел рисовать будущее. Не утопию там, и не космические корабли, а то, что произойдет. Как бы предсказывать, понимаешь?

– Будет тебе дано, – серьезно кивнула Яна. – Обещаю.

Мне бы тогда обратить чуть больше внимания на этот странный разговор, на всю эту сцену вообще, но я настолько был ошарашен тем, что на Савву нимало не повлияли Каиновские художества, что все прочее упустил из виду.

Как и многое другое, к огромному своему сожалению.

В пятницу рано утром мы все снова собрались на кухне, чтобы пройти по пунктам плана и, как говорится, сверить часы. Позвонили Валентину Александровичу: тот подтвердил, что все в силе, категорически предостерег от опозданий и, несколько смущаясь, попросил четыреста рублей для решения вопроса с оперативным сопровождением.

– Только мне сегодня нужно. Я бы свои дал, конечно, но сейчас, как назло, на мели.

Мы разъехались, крепко и со значением пожав на прощание руки: Чечевицины отправились на работу в депо, Деметрашвили укатил к сыну, чтобы вместе потом встретиться с нами у Верхне-Черкасово, а я взял у Яны деньги и поехал на встречу с дядей Вале́й, который так некстати вдруг поиздержался.

День выдался особенно жарким и дымным. Я вернулся к обеду, прокопченный, как “Московская” колбаса, и взмокший. На кухне Зина Чечевица рассказывала соседкам:

– В области уже четыре деревни сгорело. У моего троюродного брата свояк в пожарной охране работает, так он говорит, что и тушить нечего было: дома вот прямо обуглились все и в торф провалились по крышу.

– А погорельцев в город не пускают, – подхватила Люська. – Полина, жиличка моя, она же проводница на железной дороге, так рассказывала, что на вокзалах милиция специально ходит и всех, кто из погорелых районов приезжает, ловит и отправляет потом на сто первый километр. Это чтобы никто не знал ничего и паники не было.

Все охали и качали головами. Я готов был уже верить всему – или ничему вовсе.

– А где Савва с Яной? – спросил я.

– Так у Ванечки в гостях, – ответила тетя Женя. – С утра там сидят.

И на это я тоже тогда не обратил никакого внимания.

Время тянулось медленно, как однообразная жизнь речной черепашки, а ближе к вечеру будто остановилось вовсе. Наконец без десяти девять я сказал:

– Выходим через десять минут.

– Ой! Мы же Ване обещали зайти попрощаться! – воскликнула Яна.

– Только быстро, – предупредил я. – Запас по времени минимальный.

Они с Саввой поднялись и, действительно, очень быстро вернулись, посерьезневшие, молчаливые, и какие-то отстранённые. Я и сам был сейчас таким, погруженный в мысли о предстоящем и о множестве тонких мест, где кое-как сверстаный план, весь состоящий из надежд на удачу, мог порваться с треском, будто истертый канат.

Нас провожали без лишних слов и эмоций, как воинов, отправляющихся в бой; только Люська всплакнула, обнимая меня на прощание, да тетя Женя перекрестила украдкой.

Мы вышли во двор. Дядя Яша отправился выводить из гаража свой “Запорожец”, а я, Савва и Яна перешли проспект и рысью припустили через “прерии” к железной дороге.

Деревья выросли, да и травы как будто окрепли и разрослись за

прошедшие годы, но детская память – штука цепкая, и я легко бежал по чуть заметным в наступающих сумерках тайным тропинкам, отмечая автоматически: тропа гуронов, ристалище, а вот и форт Вильям-Генри – сейчас тут чернело пятно кострища по центру, валялись сломанные ящики и пустые бутылки рядом с бревном-скамейкой. Савва ритмично пыхтел позади; он бежал неловко, как человек, не привычный к таким упражнениям, а вот Яна словно летела, чуть касаясь земли носочками босоножек.

Дым призрачными слоями висел над насыпью железной дороги. Пахло августом, шпалами и лесными кострами. Мы опустились на крупный щебень, переводя дух. Я посмотрел на часы: 21.14.

Три желтых глаза приближающегося тепловоза проступили сквозь туманную дымку. Накатился размеренный, гулкий грохот колес многотонного товарного поезда; дрогнули, будто струны, стальные рельсы и с легким шорохом сорвался вниз камешек из-под шпалы. Трубно взревел короткий гудок – и сразу за ним раздался второй. Мы вскочили. Состав приближался – мне показалось, что как-то слишком быстро, словно даже не намеревался притормозить. В железном боку тепловоза распахнулась дверь и Ленька, в расстегнутом синем форменном мундире с нашивками, серьезный и возбужденный одновременно, замахал нам рукой.

Мы побежали вдоль насыпи, путаясь в густой пыльной траве и прикрываясь руками от веток, хлещущих по глазам. Рядом громыхали вагоны. Савва теперь бежал впереди меня и, неуклюже загребая ногами, пытался забраться на насыпь. Ленька что-то крикнул в темноту кабины, поезд еще чуть замедлился, и этого хватило, чтобы Яна взлетела к открытой двери, протягивая руки. Младший Чечевицин одним движением втянул ее внутрь и опять свесился наружу, вытянув одну руку, а другой цепляясь за поручень рядом с дверью. Савва поднажал, тоже ухватился за поручень, но в этот момент гравий разъехался у него под ногами, и он повис, загребая ботинками, а тепловоз, набирая ход, потащил его за собой. Ленька, оскалившись, одной рукой ухватил Савву за предплечье и потянул, но это помогло мало, потому что руки Ильинского, вцепившегося мертвой хваткой в деревянный поручень, были недвижны, а ноги меж тем постепенно затягивало под тепловоз, туда, где отбивали угрюмый ритм многотонные колесные пары. Я подбежал, на ходу схватил Савву за бедра и резко поднял, тут же почувствовав, как основной вес сместился вверх – это Ленька поймал его за пояс и затащил наконец-то в кабину – а потом я и сам потерял равновесие, упал, не успев толком сгруппироваться, и съехал вниз по грубому щебню, обдирая ладони и локти.

Савва смотрел на меня, высунувшись из открытой двери и постепенно исчезая в тумане.

Рубашка порвалась и правый локоть порядком кровил, но заниматься собой сейчас не было времени: я только проверил, не потерял ли значок с красноглазым волчонком, и помчался через “прерии” обратно к дому, где меня ждал дядя Яша.

Белый “ушастый” “Запорожец” стрекотал двигателем рядом с парадной. Дядя Яша увидел меня, выбросил папиросу и спросил:

– Все в порядке?

– Как нельзя лучше, – заверил я. – Они в поезде. Поехали.

Дядя Яша оценивающе окинул меня взглядом, покачал головой и полез в автомобиль. “Запорожец” жалобно скрипнул рессорами, просев под грузной тяжестью хозяина. Дядя Яша до отказа сдвинул назад свое сидение, пристроил поудобнее живот так, чтобы тот не слишком давил на руль, и значительно молвил:

– Ну, с Богом!

Потом погладил приборную доску и добавил:

– Не подведи, Снежок.

– По городу не гони слишком, – предупредил я. – Нам проблемы сейчас не нужны.

Через город мы проехали без происшествий; на выезде нас остановили на посту ГАИ, проверили документы, багажник, и отпустили. Я выдохнул: значит, беглого капитана Адамова еще не подали в розыск, да и голос мой, бесхитростно искаженный платком при звонке Леокадии Адольфовне, остался неузнанным.

В свете фар мелькнул светлый продолговатый знак с перечеркнутой надписью “ЛЕНИНГРАД”. Дядя Яша завозился, усаживаясь поудобнее, от чего несчастный автомобиль закачался, будто лодка на боковой волне, а потом провозгласил:

– Вопрос “Армянскому радио”! Может ли “Запорожец” развить скорость в сто километров в час?

Он посмотрел на меня, поднял палец и продолжил с деланным горским акцентом:

– Может, если его сбросить с горы Арарат!

– Смешно, – согласился я с некоторой тревогой.

– Ну вот и проверим, – заключил дядя Яша и вдавил педаль газа в пол.

Автомобиль взвыл, задрожал и рванулся во тьму, отчаянно отталкиваясь задними колесами от дорожного полотна. Красная стрелка упрямо ползла по спидометру, пока через бесконечно долгую минуту

надсадного рева, воя и дребезжания, не перевалила за цифру 90.

– Так, все пока, – пробормотал дядя Яша. – Витя, ты за временем следи и за картой. Если что, прибавим еще.

Мимо со страшной скоростью неслись дым, мрак, черные спутанные силуэты деревьев, вспыхивали в свете фар редкие дорожные знаки, обозначавшие въезд в населенные пункты – и тогда дядя Яша чуть сбрасывал скорость, чтобы через несколько минут снова разогнаться едва не до сотни. Цифры на моих электронных часах отсчитывали минуты, и мы вроде бы успевали, пока не заплутали где-то между Симагино и Огоньками, пропустив поворот. Пришлось разворачиваться, потеряв время, так что после Кирилловского на спидометре стрелка замерла на отметке 110, двигатель срывался на визг, в салоне тряслось и гремело, а дядя Яша, вцепившись в руль, приговаривал: “Давай, Снежок, давай” – и тот давал, как, верно, никогда прежде за всю свою автомобильную жизнь.

К Верхне-Черкасово мы подъехали без семи минут одиннадцать вечера, запыхавшиеся так, словно сами мчались по ночным трассам со скоростью в сто километров. Справа за обочиной темнело неказистое редколесье; слева, за нешироким кюветом и полосой сорной травы и корявых сосенок, крепостным валом высилась железнодорожная насыпь; чуть впереди виднелась пустая платформа, освещенная одиноким ночным фонарем.

Красно-белый РАФ “скорой помощи” с выключенными фарами и сигналами стоял у обочины.

– Так, порядок, Амираныч с сыном тоже здесь. Вроде успели.

Я собирался ответить что-то в том смысле, что да, мол, все хорошо и по плану, но в этот момент салон в мгновение осветился белым и синим. Сзади неспеша приближалась машина милицейского патруля: медленно проехала мимо и остановилась между “Запорожцем” и “Скорой”.

Дядя Яша открыл рот, не нашел, что сказать, и посмотрел на меня. Я взглянул на часы: 22.55. До прибытия поезда с Саввой и Яной оставалось минут пять.

Физиономия у меня была пыльной, локоть – разодранным, рубашка – рваной, нелепый значок зимней олимпиады в Сараево удачно дополнял образ. Я глубоко вздохнул и вылез из автомобиля.

Молодой патрульный тоже вышел из машины. У него было открытое, честное лицо хорошего парня, несущего службу, как надо. Он увидел меня, нахмурился, и постучал в окошко своего автомобиля. Водительская дверца открылась и оттуда выбрался второй милиционер, крепкий, коренастый, с ключим внимательным взглядом.

– Старший лейтенант Морозков! Документики Ваши могу посмотреть, гражданин?

Я подошел ближе и вытащил удостоверение.

– Капитан Адамов, уголовный розыск.

Старший лейтенант быстро взглянул на документик, подтянулся и ответил:

– Здравия желаю, товарищ капитан! Помощь нужна?

На придорожные столбы и платформу упал отсвет прожектора приближающегося тепловоза.

– Нужна. Проводим спецоперацию, ты нас демаскируешь, лейтенант.

– Понял, не дурак, – он серьезно кивнул, махнул рукой напарнику и оба быстро сели в автомобиль. Я проводил взглядом удаляющиеся красные огоньки габаритных огней, а позади уже нарастал гул тяжелых железных колес и проревели отрывисто два коротких гудка.

Тепловоз катился на этот раз совсем медленно, и высадка прошла без происшествий: я подхватил Яну, а Савва выпрыгнул сам – пробежался немного, споткнулся, но на ногах устоял. Из открытой двери выглянул Чечевицин-старший: махнул нам рукой, а потом поднял вверх сжатый кулак – будто подпольщик, переправивший через границу империи друзей-революционеров. Героическая песенная нота словно прозвучала в дымных сумерках, потянулась вслед за тепловозом и растаяла над платформой и лесом.

У “Скорой” нас уже ждали дядя Яша и Деметрашвили, а рядом с ними стоял какой-то плечистый темноволосый красавец в белой рубашке. Он увидел меня и широко распахнул объятия, улыбка в сумерках сверкнула, как проблеск звезды.

– Дато?!

Опять наступила сумятица: приветствия, знакомства, вопросы, а Дато вытащил из кармана бумажник и в свете фар показывал мне фотокарточку прекрасной, как горный восход, молодой женщины с серьезным темноглазым младенцем на руках.

– Мои, Нина и Гия, красавцы, скажи?!

– Красавцы, красавцы, Дато, сыночек весь в папу, только не время сейчас, давай после, ладно?

Савва и Яна забрались внутрь “скорой помощи”, Георгий Амиранович залез следом и натянул медицинский халат – скорее, наверное, по привычке, чем ради какой бы то ни было маскировки, которая, случись что, была бы совершенно бессмысленной.

До “зеленой стоянки” неподалеку от Лосево мы добрались быстро и

без происшествий. Удивительно, но за все почти семьдесят километров пути нам ни разу не встретилось ни одного патруля, хотя я уверен, что рискни мы и отправься в дорогу на одном “Запорожце”, сотрудники ГАИ поджидали бы нас за каждым кустом. “Скорая” с включенными проблесковыми маяками шла впереди, не слишком быстро, но и не медленно – так, километров семьдесят в час. Мы ехали в сотне метров сзади – рядом, но, на всякий случай, как будто не вместе. Снежок бойко стрекотал двигателем, адреналин больше не разрывал нервы, а только чуть кружил голову, как похмелье, и волнение отпускало мало-помалу: тепловоз не обыскивали, он не задержался в пути, у “Запорожца” не взорвался двигатель, не полетела трансмиссия и не закипела вода, единственный встречный милицейский патруль удовлетворился полученными объяснениями – вот, и красный “Икарус” с надписью “Интурист” на борту уже стоит на обочине у “зеленой стоянки”, хотя и подъехали мы чуть раньше, чем за полчаса до оговоренного времени встречи.

Просторный салон автобуса светился уютным и желтым, внутри отчетливо были видны сидящие люди и белые чехлы наголовников свободных сидений. Несколько мужчин, собравшись кучкой, курили поодаль, в сумраке разгорались и гасли огоньки сигарет. У открытой двери маячила долговязая фигура дяди Вали Хоппера: он расхаживал, засунув руки в карманы, потом увидел нас и помахал.

Все было настолько спокойно, что я снова заволновался.

– Ну что, все вроде, – неуверенно произнес дядя Яша.

Похоже, ему тоже не верилось в то, что наш путь завершен – и завершен успешно: осталось только перейти дорогу – и вот он, автобус, потом Светогорск...а дальше уже от нас ничего не зависит.

Задние створки “скорой помощи” распахнулись. Георгий Амиранович спрыгнул из кузова, помог вылезти Яне, следом неспеша выбрался Ильинский. Мы собрались кружком между “Запорожцем” и “скорой”, свет фар отделял нас от ночи и от мира за ее пределами, мы молчали, и нужно было прощаться, но никто не знал, как.

– Что ж, – первой нарушила неловкую тишину Яна. – Мы пойдем. Спасибо большое всем!

Никто не нашел, что ответить. Она обняла по очереди Дато, и Георгия Амирановича, и дядю Яшу, и подошла ко мне, а я так и не смог поймать ее взгляд – только почувствовал, как тоненькие прохладные руки охватили на мгновение шею да по-детски клюнули в щеку холодные губы. Савва и вовсе не проронил ни слова: лишь пожал руки, глядя куда-то то ли внутрь себя, то ли вовне – так далеко, что обычному человеку туда невозможно

было проникнуть и мыслью, не только взглядом.

– Берегите себя, – напутствовал Деметрашвили.

– Это...может, дадите знать, как доберетесь...куда-нибудь, – попросил дядя Яша.

Яна задумалась на секунду и кивнула.

– Да, мы дадим знать.

И еще раз сказала:

– Спасибо большое всем!

Они повернулись и медленно пошли через пустынную трассу к автобусу. Мы остались стоять и смотрели им вслед. Тихо стелился дым; в темном лесу протяжными голосами перекликались ночные птицы; негромко ворчали двигатели на холостом ходу. Яна и Савва приблизились к автобусу; курильщики проводили их взглядами и вернулись к неспешному разговору. Дядя Валя шагнул навстречу, поздоровался с Саввой за руку, сказал что-то и приглашающим жестом указал на открытую дверь. Они поднялись во лестнице в освещенный салон, будто в обетованный Эдем из внешней тьмы, не обернувшись и не махнув рукой на прощание. Только Валентин Александрович, точно страж на границе света и тьмы, поднял вверх большой палец: все, дело сделано.

– Дело сделано, – будто бы повторил за ним дядя Яша, и все кивнули: да, так и есть, можно теперь расходиться.

Мы постояли немного, глядя, как Яна и Савва усаживаются на свободные кресла в салоне, а потом и сами сели в машины и поехали прочь.

Мне было грустно. Знаете, бывает такая печаль после успешного дела: и все получилось, и не сорвалось ничего, и удача сопутствовала так, как не ждали – а потом приходит грусть и особенная пустота, как будто ты отдал что-то личное, дорогое, и оно к тебе больше никогда не вернется. Я покосился на дядю Яшу: он положил локоть на открытое окно и курил, тиская папиросную гильзу зубами, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос – наверное, тоже ощущал эту грусть, что так рифмовалась с густой тьмой августовской ночи, монотонным мельканием леса и узким пустынным шоссе.

В зеркало заднего вида ударили ослепительные фары дальнего света.

Я обернулся. Серая “Волга”, появившись из-за поворота, уверенно нагоняла. Лучи фар вползали в тесный салон “Запорожца” как щупальца глубоководного спрута. Дядя Яша покосился в зеркало и чуть прибавил скорость. “Волга” легко сократила расстояние примерно до полусотни метров и шла позади с высокомерной уверенностью опытного

преследователя.

– Может, попробую оторваться? – неуверенно предложил дядя Яша.

– От “Волги”?

Он заерзал, выплюнул в окно папиросу и покрепче ухватился за руль. Дорога пошла под уклон, круто спускаясь в сумрак низины, а потом снова появляясь из тьмы и взбираясь наверх вдалеке. “Волга” держала дистанцию, не приближаясь, но и не отставая; я, щурясь, всматривался поверх ярких фар и даже смог разглядеть два темных силуэта – за рулем и на пассажирском сидении – как вдруг все вокруг залило мгновенной ослепительной вспышкой белого света.

Бесшумная молния исполинской дугой расколола темноту от неба до самой нижней части крутого склона, на мгновение выхватив из мрака лес, и поле за ним, и далекое озерцо, и домики спящей деревни на его берегу. Миг – и сверкающий белый разлом сжался в нестерпимо яркую точку, она расширилась, превратившись в шар раскаленного пламени, который тут же распался надвое, став фарами бешено летящего навстречу тяжелого самосвала. По ушам вдарило рычанием и трубным ревом, через окно окатило тугой волной теплой бензиновой вони. Дядя Яша резко вывернул руль вправо, “Запорожец” вильнул, чуть не перевернулся, но удержался на четырех колесах, уравниваемый грузной массой своего хозяина, и стремительно вылетел за обочину. Навстречу метнулись рваные силуэты деревьев, паутина ветвей, раздался треск, меня мотнуло вперед, ударило головой о стойку, а потом я увидел летящее в лобовое стекло черное дно кювета, куда, подпрыгнув, на полной скорости обрушился “Запорожец”.

\* \* \*

Я очнулся внутри непроницаемой слепой темноты. Голова была как шар, туго надутый болью. Шар этот болтался на обмякшей шее, которая тоже болела. И грудь тоже болела, как после тупого удара, и саднили запястья, но сильнее всего болели плечи – так, словно их вывернули на дыбе. Странно, но боль эта казалась знакомой – не по личному опыту, а как будто по чьим-то рассказам, или, может быть, жалобам. Я подумал немного, вспомнил, кто мог жаловаться на похожее, и попробовал пошевелить руками. Послышалось тихое звяканье и запястья обожгло резкой болью. Все верно: так сводит плечи, когда руки долгое время скованы наручниками за спиной.

Вслед за болью вместе с сознанием приходили новые чувства и

ощущения: жесткое сидение стула, твердая деревянная спинка, за которую были заведены мои руки, запах армейской кожи, оружейной смазки и старой мебели, пропитанной насквозь куревом и казенной пылью. Я по-прежнему ничего не видел и уже подумал было, что лишился зрения после страшного падения вместе с “Запорожцем” в кювет, но потом понял, что просто смотрю изнутри в закрытые веки.

Я открыл глаза.

Стул стоял посередине большого квадратного кабинета. Высокий потолок едва белел в густом полумраке. Узкие окна плотно зашторены толстыми портьерами грязно-зеленого цвета. Голые неровные стены, расходящиеся под каким-то неправильным, ассиметричным углом, оштукатурены от потолка до середины, а от середины и до дощатого неопрятного пола покрыты свинцово-серой краской, на которой единственным ярким пятном выделялся небольшой плакат: вылезшая из буржуазного белого манжета костистая багровая лапа с заостренными когтями тянется к рукояти пистолета, торчащей из беспечно расстегнутой кобуры.

Напротив меня поперек кабинета возвышался громоздкий, как саркофаг, письменный стол, покрытый потертым зеленым коленкором. Карболитовая настольная лампа ярко освещала простую картонную папку, на обложке которой крупно и без затей было выведено “АДАМОВ”, тяжелый черный телефон с массивной трубкой, лежащей на высоких рычагах, безобразно перепачканную чернильницу, из которой торчало стальное перо, покрытое пятнами пресс-папье, несколько остро отточенных красных карандашей, пачку “Казбека”, переполненную пепельницу и внушительного вида кулак, сжимающий стакан в подстаканнике с отчеканенным глухарем. Кулак медленно приподнялся, и навстречу ему из полумрака за пределами светового круга выдвинулась похожая на суровую маску вытянутая физиономия: черные густые брови на мощных насупленных дугах, под которыми недобро поблескивали прищуренные глаза, волевой подбородок с ямочкой и упрямо сжатые губы. За лицом выступили очертания могучей широкоплечей фигуры, облаченной в синий открытый китель, на отложном воротничке которого краснели краповые петлицы с тремя золотыми звездами.

Человек за столом неспешно поднес стакан ко рту и с протяжным сипящим хлюпаньем принялся втягивать в себя чай, не отводя от меня сверлящего взгляда темных суженных глаз. Это длилось так долго, что, кажется, за это время можно было бы подобным манером осушить небольшой пруд. Наконец он оторвался от стакана, шумно выдохнул,

опустил руку, помолчал, а потом заговорил чуть хриплым, внушительным басом:

– И как же так получилось, Виктор Геннадьевич, что Вы, сотрудник органов, партиец, стали помогать врагам трудового народа?

Слева что-то звякнуло и дробно загрохотало. Я не без труда повернул голову. У левой стены примостился столик с пожелтевшим графином и пишущей машинкой, за которой сидела строгого вида молодая женщина: белая блузка с застегнутым под горло воротником плотно стискивала высокую грудь, черные, как беззвездная ночь, кошачьего разреза глаза казались огромными за стеклами больших круглых очков в тонкой железной оправе, темные волосы аккуратно собраны на затылке в тяжелый пучок, гладкая смуглая кожа отливала оливковым на высоких скулах. Ловкие пальцы колотили по стальным кнопкам, как по клавишам фортепиано. Она допечатала строчку, со звоном сдвинула каретку влево и замерла, глядя перед собой.

Тишина сгустилась и стала почти осязаемо плотной. Человек за столом вытащил из пачки на столе папиросу и принялся разминать ее, все так же пристально глядя на меня. Я уставился в ответ и молчал. Время текло медленно, как густой сироп, и я был мухой, которая безнадежно в него влипла.

– Может, хватит в молчанку играть?!!

С портьер испуганно взлетели облака пыли. Он с силой засадил папиросу в столешницу, будто забивая гвоздь, все разом подпрыгнуло и зазвенело, перо выскочило из чернильницы, упало со стуком и скрылось во тьме под столом. Пишущая машинка коротко отозвалась лязгающим железным каскадом, зазвенела и снова затихла.

– Переигрываете, – сказал я.

Человек в синем кителе поднимался из-за стола, но сейчас замер, опираясь кулаками на картонную папку с моей фамилией. Я покосился влево: молодая женщина все так же сидела за пишущей машинкой, но мне показалось, что в ее черных глазах звездочками вспыхнуло веселое любопытство.

– В каком это смысле, переигрываем? – свирепым басом осведомился мужчина.

– В самом прямом, – ответил я. – Ни актерство, ни костюмы, ни декорации никуда не годятся. Халтура. Форма НКВД тридцатых годов, плакат этот нелепый, а таких телефонов и чернильниц с пером я уже лет двадцать не видел. Лексика тоже ни к черту: “враги трудового народа”, “в молчанку играть” – ну надо же! Ты бы еще “тамбовского волка” вспомнил.

Он сел. Я усмехнулся и покачал головой.

– Это додуматься до такого: комиссар госбезопасности третьего ранга с внешностью Гойко Митича!<sup>[10]</sup>

Смеяться было больно, но я себя заставил. Веселые искорки в глазах женщины разгорались ярче.

– И секретарь-машинистка под стать. Как с обложки журнала “Искусство кино”. Похожа на актрису эту...итальянскую...не вспомнить сейчас. Иф Штеллай, если не ошибаюсь?

Я повернулся человеку за столом.

– А ты Боб?

Он зло засопел. Женщина откинулась на спинку стула и расхохоталась. У нее были красиво очерченные губы и зубы ослепительной белизны, сверкавшие в полумраке как праздничный фарфор. Не переставая смеяться, она распустила тяжелые темные кудри, сняла очки, расстегнула две верхние пуговицы на блузке и с насмешливой церемонностью прижала ладонь к распахнувшемуся декольте.

– Керувим Иф Штеллай Шеда Мадиах, – назвалась она, чуть отдышавшись. – Можно просто Стелла. А этой мой незаменимый, хоть и несколько недалекий помощник, Ишим Боб Шед Махрив.

Тот угрюмо кивнул.

– Ну вот, видишь, я же говорила тебе, что он сразу догадается! А ты что? Паттерны, генетическая память, стандартизированный шаблон восприятия, подсознательный страх! Это Боб тебя напугать хотел, – пояснила она мне. – Глупость придумал какую-то, да и я тоже хороша, что согласилась. Надо было делать, как сначала хотели: больничная палата, гипс, бинты, рядом папа с мамой – смотришь, и поверил бы.

Она вздохнула, подалась вперед, подперев лицо ладонью, и поинтересовалась у своего напарника:

– Ну? И какой теперь план?

Боб пожал плечами, молча поднялся, вышел из-за стола и подошел ко мне. Несмотря на сложение тяжелоатлета, двигался он с легкой, изящной непринужденностью – и так же непринужденно, без замаха, врезал мне с правой. Удар вышел такой силы, что две ножки стула оторвались от пола. Голова чуть не лопнула от ослепляющей и оглушающей боли, скула стремительно налилась давящей тяжестью.

– Ты бы хоть спросил его про что-то, прежде чем бить, – заметила Стелла.

– Это аванс, – пояснил Боб. – А вот и получка.

Боковой левой вышел сильнее, и опрокинул меня на пол вместе со

стулом. Падение показалось мне долгим и каким-то замысловатым: я словно летел сквозь нагромождения ломаной мебели, вокруг все трещало, толкалось и колотило по больному, а потом я ударился головой о пол и замер в неожиданном, почти блаженном покое. Чугунная боль осталась где-то на периферии сознания, и оттуда же неслись голоса:

– Не перестарайся! Ему и так досталось в аварии.

– Да что ему досталось! Не авария и была, подумаешь, в канаву съехали. Толстяк за рулем вообще одними синяками отделался. А этот просто головой разок приложился.

– Вот именно, что головой. Она у них уязвимое место, а ты колотишь туда, как зря. Давай-ка, подними его, только поаккуратней.

Я снова оказался сидящим на стуле.

– Витя? – позвал меня женский голос. – Витя, ты тут?

Я сам не знал сейчас, где я.

– Капитан Адамов? Виктор Геннадьевич? Боб, вот, полюбуйся – он совсем потерялся! Ладно, дай-ка сюда “газировку”...

В багровом сумраке что-то сверкнуло, пахнуло озоном – и сознание прояснилось мгновенно, как будто дождливую ночь вдруг разом сменил ясный полдень. Восприятие обострилось необычайно, до малейших шорохов, теней и оттенков, и тут же вернулась и окутала с головой живая резкая боль.

Я с трудом сдержал крик, стиснув зубы до скрипа.

Лампа слепила глаза. На полу и стенах лежали неправдоподобно резкие тени. Когтистая кроваво-красная рука на плакате хищно двигала пальцами, все ближе подбираясь к торчащей из кобуры рукояти оружия, которое следовало беречь от врагов. Стелла сидела, вытянув скрещенные ноги и внимательно глядя на меня. Боб, огромный и грозный, как языческий идол, нависал, опершись на столешницу задом и скрестив на груди могучие руки. Мышцы бугрились и едва не рвали рукава кителя.

– Где элохим и математик? – спросил он.

Боль отвлекала, мешала думать, но сознание было сияюще чистым и мысли неслись в нем, как ласточки в небесной лазури. Итак, дядя Яша жив и здоров, хотя где он сейчас, неизвестно. Кто был в серой “Волге”, преследовавшей нас на шоссе, тоже неясно, как и то, сколько прошло времени с момента, когда наш “Запорожец” слетел с дороги в кювет. Очевидным сейчас для меня было одно: план сработал, Яна и Савва ушли за границу по открытому Мелехом проходу через масах, и шеды пока их не выследили. Поэтому я решил отмолчаться. Страха я не испытывал, а боль можно было и потерпеть.

Так я думал.

– Аванс с получкой я тебе уже выдал, но еще премию задолжал, – с угрозой поговорил Боб. – Ты уж скажи что-нибудь, сделай себе одолжение.

Я хотел улыбнуться, но мышцы сводило от боли и вместо отважной улыбки вышла какая-то кривая гримаса.

– Ничего ты мне не сделаешь, – сообщил я. – Убивать меня нельзя. Калечить тоже – сценарии в Сфере вероятностей можно сильно исказить, вам за это от машгиаха влетит так, что не обрадуетесь. А по морде меня и сильнее били, переживу.

Последнее было чистой водой враньем, но звучало неплохо.

Стелла вздохнула.

– Какое все-таки трепло эта Яна! Редкостное.

Она сочувственно покачала головой.

– Витя, я лично против тебя ничего не имею. Более того, ты мне нравишься даже, поэтому позволь кое-что тебе объяснить. Убивать и калечить мы и правда, не можем...

– Это как посмотреть, – буркнул Боб.

– Без разрешения или приказа – не можем, – строго сказала Стелла. – Но, видишь ли, нам это и без нужды. Я – мадиах. Ты знаешь, что это значит?

Я не знал.

– Испытатель, – пояснила она. – Моя основная специальность – проверять на устойчивость ценностные и волевые установки перед воздействием разного рода психофизических импульсов. Конечно, индивидуальной работой я уже давно не занималась, но для тебя, пожалуй, сделаю исключение.

Стелла задумчиво прикоснулась к клавишам печатной машинки, словно музыкант, подбирающий гамму.

– Тебя настоящего – всего вот столечко, – она сложила большой и указательный пальцы в кружочек и посмотрела через него на меня. – И эта малость помещена в тело, почти полностью управляемое мозгом, а тот, в свою очередь, генерирует в ответ на внешние раздражители выработку гормональной химии, что рождает иногда совершенно неконтролируемые реакции. То, насколько человек может их обуздать, зависит от силы его воли, укрепляемой внутренними ценностными установками, а ведь именно их состоятельность я и должна проверять, верно? Так что кости тебе ломать нет никакой необходимости. Оформлю задним числом индивидуальное тестирование, настроюсь на токи твоего мозга, ну а если ты вдруг, например, сойдешь с ума в результате – что ж, такое тоже бывает. Но может

быть, не будем доводить до крайности? Лично мне бы не хотелось вот так продолжать наше едва начавшееся знакомство. Где Ильинский и Яна?

Я промолчал.

Стелла сокрушенно покачала головой положила пальцы на клавиши и отбарабанила короткую железную дробь.

Бывают явления, для которых не подобрать слов – и тогда мы пытаемся дать описание от противного, говоря о том, чем оно не является, словно обозначая пунктирными точками его границы. То, что случилось, едва смолк лязг пишущей машинки Иф Штеллай, не было ни квинтэссенцией всего самого страшного, что только могло измыслить мое воображение, ни внезапным переживанием забытого ужаса новорожденного, извергнутого в неизвестность из материнского лона; в этом не было ни мысли, ни образа, ни ощущения, ни чувства, ни воспоминания – только совершенный абсолют темного животного ужаса, раскрывшегося в вечность мгновения перед неизбежной и окончательной смертью.

Невозможно подняться вместе со стулом, если руки стянуты сзади наручниками вокруг спинки – но мне это почти удалось, во всяком случае, настолько, чтобы упасть вперед и врезаться головой в бугристый и твердый, будто живая сталь, живот Боба. Тому стоило некоторых усилий усадить меня обратно и удержать, прижимая за плечи огромными мощными лапищами – но в этот момент зазвенела каретка и все кончилось.

Я сидел, обливаясь потом и хватая ртом воздух. По сведенным судорогой пальцам стекало липкое и горячее – наверное, я разорвал себе наручниками запястья, когда вскочил на ноги. Нужно было что-то сказать, и я выдавил:

– Понятия не имею...

– Подожди, подожди! – воскликнула Стелла. – Я тебе еще не все показала. Сейчас было самое простое, так, анксиогеном sprysнула немножко. А можно, например, обойти внешние рецепторы и сделать вот так...

Пишущая машинка извергла зловещий клацающий грохот – будто рваный ритм адской польки, под которую на Страшный суд спешат, пританцовывая, восставшие из гробов мертвецы. В воздухе мгновенно сгустилось электричество, волосы у меня, треща, встали дыбом – а потом я почувствовал, как через позвоночник словно потянули колючую проволоку. Я даже увидел ее: это была старая, ржавая проволока, какие бесформенными мотками свисают с обветшавших кирпичных заборов, с крупными, тупыми шипами, свернутая в тугую спутанную спираль, и она

разворачивалась нехотя и с натугой, виток за витком, и кто-то упрямый тянул и тянул ее сквозь позвонки, снизу вверх, шипы рвали спинной мозг, нервы, цепляли и смещали со скрипом позвоночные диски, иногда застревали – и тогда тот, кто тянул, дергал проволоку посильнее.

Я заорал, да так, что у самого зазвенело в ушах. И знаете что? Нисколько этого не стыжусь.

Каретка машинки прозвучала спасительным звоном, будто крик петуха, возвещающий конец ночного кошмара. Но я понимал, что моя личная ночь только еще началась. Я прикинул: Савва и Яна сели в автобус незадолго до часа, в кювет мы слетели примерно минут через двадцать – пусть в четверть второго, для простоты счета. Сколько я был без сознания? Возможно, час или два. Выходило, что время снаружи сейчас едва перевалило за четыре утра, только что перезагрузилась Сфера вероятности, а значит, ни Стелла, ни ее угрюмый приятель еще не могли знать, как именно и куда ушли Ильинский со своей спутницей. Следовательно, держаться мне предстояло еще не менее суток до того момента, когда шеды сами узнают про Мелеха и выход через масах в Светогорске.

С учетом того, что я уже пережил, перспектива не радовала.

– Витя, ты заставляешь меня быть злой, – грустно проговорила Стелла. – А мне это совсем не нравится, хочешь, верь – хочешь, нет. Ситуация твоя сейчас и так хуже некуда, так, может быть, не будем усугублять?

– Дырку ты от бублика получишь, а не Ильинского. Он уже давно того...тю-тю.

Боб закричал и подался вперед. Стелла остановила его взмахом руки и продолжала:

– Ты, наверное, чувствуешь себя героем? Стойкий оловянный солдатик, пулеметчик, прикрывающий отход своих, ни шагу назад, умираю, но не сдаюсь, сам погибай – товарища выручай, верно? Но ты же на войне, Витя. Ты просто встрял зачем-то даже не в противостояние, а так, в научный диспут. Это Яна со своими коллегами любят изображать нашу с ними дискуссию в виде эпической вселенской битвы, где они – светлолики и лучезарны, а мы – какие-то рогатые пресмыкающиеся, поедающие человеческих младенцев. А знаешь, почему именно так? Потому что люди, человечество в целом – раса войны, и вся культура ваша основана на культе военной доблести предков. Это присуще вам как виду, данность такая. Первое, что вы сделали, едва загрузившись в оболочки приматов – изничтожили без всякой жалости все родственные инвариантные модели палеоантропов. Колесо еще не придумали, а убивать подобных себе уже

научились. Ваша история – цепь военных побед и поражений, эталонный подвиг – в бою, герой – непременно солдат, вам близка и понятна этика конфронтации, эстетика жертвенной смерти, оценка человеческой личности по мере доблести, проявленной в драке. Вы в состоянии любую идею, от самой великой до совсем завалящей превратить в повод к взаимному истреблению.

Стелла состроила свирепую и смешную гримаску, подняла кулачки и картинно воскликнула, словно передразнивая разом весь человеческий род:

– Что? Любить ближнего? Отлично, принято! А ну, кто тут ближнего не любит?! Или сюда, вот тебе, вот, вот!

Она засмеялась.

– Основа взаимоотношений между всеми вашими социумами – система идентификации “свой – чужой”, и если свой – то ему все можно простить, на все закрыть глаза, а если чужой, так пусть он хоть трижды святой, все равно – гад, враг и ничтожество. Как сформировали несколько тысяч лет назад социальную психологию родоплеменных ценностей, так и живете в ее системе. Те из вас, которые поумнее, уже давно научились этим манипулировать, в самых разных масштабах, от мелких хулиганских шаяк до целых стран и народов. Ну и наши оппоненты тоже не отстают. А ты им веришь. Мы-то с элохим поспорим, да и разойдемся, а вот ты себе жизнь искалечишь. Ну так как, может быть, перестанешь упрячиться?

– Мне нужно подумать, – ответил я. – Передохнуть денька два, обмозговать все. Давай созвонимся как-нибудь на недельке.

Стелла махнула рукой и сказала:

– Боб, твоя очередь.

Он развернулся и исчез в темном углу за столом. Гулко загремел ключ, скрипнула тяжелая дверца сейфа. Послышалась какая-то возня, и через минуту он снова воздвигся передо мной и развернул на столе увесистый сверток из толстой брезентовой ткани защитного цвета. В кармашках недобро поблескивали металлом тревожного вида предметы, похожие на инструменты средневекового стоматолога. Боб принялся извлекать их один за одним, приговаривая:

– “Звездочка”, “Морской окунь”, “Римская Свеча”, “Стигматы”, “Каменный мешок”... Ну, с чего начнем?

– Не знаю, – с сомнением отозвался я. – Глаза разбегаются. Я, знаете ли, в вашем заведении впервые, может, что-то порекомендуете?

– Сам напросился, – сказал Боб, выбрал из лежащих на столе предметов один, похожий на зазубренный наконечник стрелы, и с силой вонзил в папку с моим именем...

Мама в детстве часто ругала меня за упрямство. Папа, наоборот, одобрял, говорил, что у меня есть характер, хотя сам то и дело пытался исправить этот характер армейским ремнем. А мама считала, что это и не характер вовсе, а глупость, если человек себе во вред лезет на рожон только потому, что не хочет уступить. А я не любил уступать, а на рожон лезть как раз-таки всегда предпочитал, особенно, если на меня начинали давить. Тогда я готов был стоять до конца, до кровавых соплей, до злых слез, но не сдаться и не уступить. На “Римской свече” я забыл про ядерную угрозу для человечества, в “Каменном мешке” осталась верность данным словам и обещаниям, “Звездочка” заставила вспомнить несчастного Борю Рубинчика, для которого прыжок вниз головой из окна стал желанным и единственным выходом, а после “Морского окуня”, едва перестала хлестать изо рта, носа, ушей и вытаращенных, как у рыбы, глаз едкая и густая соленая вода, у меня осталось только остервенелое, яростное упрямство, которое я подкреплял, как мог, то ругаясь в голос по-черному, то выкрикивая одну за одной военные песни – вот вам культ воинской доблести предков, твари! Нам нужна одна победа! Врагу не сдается наш гордый “Варяг”! Ты верен был своей мечте! Белла, чао, белла, чао, белла чао, чао, чао!!!

– Мне кажется, мы зря тратим лхаш, – заметила Стелла. – А время идет.

– Сколько...уже?...

Слова из ободранного матом и песнями горлом выходили с трудом.

– Двадцать минут. На рекорд идешь, – ответил Боб с некоторым, как мне показалось, одобрением.

– Незаметно...пролетело...

– Дурак упёртый! – с досадой воскликнула Стелла. – Помрешь ведь. Или спятишь.

Она посмотрела на Боба.

– Ну, и что делать с ним?

Он присел передо мной на корточки. Глаза у него были бесцветные, как мутное стекло.

– Отпустить, – сказал Боб.

Не оборачиваясь, он пошарил рукой на столе и что-то захватил лапицей.

– Отправить на все четыре стороны восвояси. С подарком на память.

Он разжал мясистую ладонь. На ней лежали какой-то плоский железный конус, похожий на шляпку мелкой поганки, и сотканная из тончайших серебристых нитей крошечная паутинка.

– Вот это, – Боб осторожно взял пальцами конус, – “Мухомор”. Хорошая штука, если нужно кого-то убрать. Висит рядом с намеченной целью и сканирует сигнатуры в небольшом радиусе, метров сто. Ищет пьяных, психов разных. Просто моральных уродов и хулиганье. Находит и срabатывает. Направленный приступ ярости – бац! И нет человека. Забьют насмерть или искалечат. И сами, самое главное, не поймут, за что и почему. Как у вас в милицейских рапортах пишут? “На почве внезапно возникших неприязненных отношений...” Бывает, что ждать приходится долго, зато надежно. У меня найдется парочка таких. Для твоих отца и матери.

Я боднул его лбом, целясь в переносицу, но промахнулся. Он отдернул голову быстро, как кобра, и оскалился в беззвучном смехе.

– А вот это “Арахна”, – он показал паутинку. – Для тебя. Блокирует выработку и усвоение бета-липотрофина и эндорфинов в мозгу и генерирует низкие вибрации. Пожизненная депрессия обеспечена. Будешь ляжку тянуть, без радости, без удовольствия, в вечной тоске, до гробовой доски. Сам в петлю полезешь. Гарантирую.

Боб подбросил лхаш на ладони.

– Ну, что выбираешь? “Мухомор” или “Арахна”? Тебе решать, друг. Тебе решать.

– Вам их все равно уже не достать, – сказал я. – Они ушли через масах в Светогорске. Кажется, в Финляндию. Куда точно, не в курсе.

В тот момент мне казалось это удачным компромиссом.

Боб удивленно воззрился на меня, а потом повернулся к Стелле. На лице у нее вдруг появилось выражение какого-то испуганного изумления. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, даже рот приоткрылся как-то по-детски, а потом выдохнула:

– Сингулярность меня побери! Он не знает.

Боб встал и тоже поглядел на меня сверху вниз едва ли не с сочувствием.

– Не знает, – откликнулся он эхом.

Стелла порывисто встала, одернула натянувшуюся на бедрах узкую серую юбку и подошла ко мне. На лице у нее было озабоченное выражение, как у лечащего врача, который внезапно понял, что его пациент болен куда серьезнее, чем предполагалось.

– Витя, – сказала она тихо, – ты действительно думаешь, что Йанай с Ильинским ушли через проход в закулистье, который Мелех для них просверлил? То есть, ты считаешь, что они в самом деле собирались так сделать?

Мне стало не по себе.

– Да.

Упираться дальше не было смысла. В голове бултыхался какой-то кисель пополам с хлопьями сажи от “Римской свечи”, и я не нашел ничего лучше, как спросить:

– А вы что, знали?..

Прозвучало глупо.

– Великая Вечность! Ну конечно!

Боб заворчал, побросал остатки лхаш на брезентовое полотнище, кое-как скрутил сверток и ушел в темный угол к сейфу.

– Странно, что тебя это удивляет! – продолжала изумляться Стелла. – Эта пакостница Яна, если уж разоткровенничалась, должна была рассказывать, как работает Сфера вероятностей? И у Мелеха вы были, он тоже поболтать не дурак, да ты и сам все видел.

– Видел.

– Значит, должен знать, что все перспективные новые сценарии, возникшие в системе после перезагрузки, доступны для аналитики после 4 утра по местному времени. Ну, дай себе труд подумать, Витя! Ты же умный парень! Вы договорились с Мелехом об этой небольшой, но сомнительной услуге 22 августа, в среду, значит, в четверг после 4 часов в Сфере должны появиться новые вероятности развития событий. Шантажировать технический персонал и требовать нарушения действующих правил – метод нетривиальный, я бы сказала, отчаянный, и конечно же, простейший скрипт-анализ позволил нам сделать верные выводы. С Мелехом был разговор, а он, в отличие от тебя, не стойкий, да и не солдатик вовсе, так что уже днем в четверг мы прекрасно знали, что Йанай намерена рвануть за границу через локальный тоннель в закулисье. Неизвестным оставалось только, где вы прятались все это время, что было не столь важно, потому что ситуация уже полностью нами контролировалась. Мы так думали, во всяком случае.

– Ничего не понимаю, – признался я. – Если все так, тогда почему вы не взяли их в Светогорске? Или еще раньше, в автобусе?

– Потому что их там не было.

Перед глазами возникла картинка: ночное шоссе, лучи фар, салон “Икаруса” с надписью “Интурист” на борту приветливо светится теплым и желтым, дядя Валя Хоппер стоит у раскрытой двери, Яна с Саввой переходят дорогу и поднимаются по ступенькам в автобус....

Стелла вздохнула.

– Слушай, мне страшно неудобно, что все так получилось, правда. Я думала, ты все знаешь и просто упрямишься, потому что вообразил себя

невесть каким героем, а оно вот как выходит...Боб! Сними ты уже с него, ради Ветхого Днями, эти наручники! И пойдти покури, что ли. Нам нужно поговорить.

Тихонько лязгнула сталь. Я с трудом расправил плечи и бросил на колени распухшие, окровавленные, онемевшие кисти. Боб взял со стола пачку “Казбека” и молча ушел в темноту. На мгновение в затхлую атмосферу бутафорского кабинета ворвался свежий, прохладный воздух августовской ночи, потом хлопнула дверь и стало тихо.

Керувим Иф Штеллай Шеда Мадиах придвинула стул, села напротив меня, взяла мои руки и стала очень осторожно и нежно разминать ладони и пальцы. Было немного больно, но скоро боль ушла, вернулась чувствительность, а вместе с ней потекло от запястий через предплечья и дальше приятное, чуть щекочущее расслабляющее тепло. У нее были длинные, сильные пальцы с красивыми, удлинненными ногтями, покрытыми розовым лаком, который гармонировал со смуглой кожей – все, как мне нравится. И сама она была такой, как мне нравится: темноволосая, знойная, яркая, с веселой и опасной чертинкой в черных глазах и декольте, в котором уютно лежали теплые мягкие тени.

Мы некоторое время молчали.

– Витя, извини, – проговорила она. – Я виновата. Могла бы и догадаться. Ну, хочешь подарю тебе что-нибудь? Чисто символически, в знак примирения. Могу простейший программный модуль собрать типа “амулет”, чтобы злодеев искать, а? Будет элементарное сканирование архивных копий Сферы проводить и определять, кто и что натворил. Как тебе?

Я хотел что-нибудь сострить в ответ, но не нашелся. Не хотелось ни язвить, ни препираться, ни вообще разговаривать – просто сидеть вот так, молча, и чтобы она продолжала массировать мне ладони.

– Нет, спасибо. Обойдусь.

Потом подумал и спросил:

– Можешь объяснить, что происходит?

– Зависит от того, что именно тебя интересует. Если ты про эту ситуацию со Светогорском, то поверь мне, лучше будет, если узнаешь про все, когда вернешься. И разберешься во всем сам. А если в более общем смысле...Слушай, если уж мы разговорились, расскажешь мне, что именно тебе поведала Яна? Про себя, про меня...про все. Просто, чтобы я понимала степень твоей осведомленности. Хорошо?

Вряд ли это как-то ухудшило бы ситуацию, да и вообще что-нибудь изменило. К тому же, обстановка располагала к откровенности; где-то

мелькнула мысль, что неплохо бы взять на вооружение этот способ дознания: сначала заковать подозреваемого в браслеты, отвалтузить как следует томом Большой Советской Энциклопедии или пачкой журналов “Огонек”, а потом сердечно извиниться и приняться чувственно массировать кисти. Гарантия успеха, запатентованная методика товарища Иф Штеллай.

Я рассказал ей про все, что услышал и воспринял с того момента, как Яна и Савва появились в моей квартире, и до памятного утра на крыше дома на Лесном: про Ильинского, его работу, странное заочное знакомство с Яной и ее эффектное появление из телевизора в лаборатории НИИ Военно-морского флота; про запредельную Вечность, Ветхого Днями, элохимов, шедев, людей, Контур и Полигон, Сферу Вероятности и ключевые сценарии Эксперимента. Руки у меня уже пришли в норму, боль ушла и даже опухоли на саднящей скуле как будто не стало; Стелла внимательно слушала меня, откинувшись на спинку стула и время от времени задумчиво кивая, словно учительница, слушающая верный ответ прилежного ученика.

Я закончил. Стелла посидела еще некоторое время, будто в раздумьях, потом выпрямилась и торжественно произнесла:

– Спасибо за откровенность, Виктор! Что ж, я тоже буду честна. Настало время тебе узнать правду.

Она нагнулась, заговорщицки приблизив ко мне лицо, и прошептала:

– На самом деле это я – элохим. А Яна – шеда.

Ее черные глаза округлились, как у ребенка, рассказывающего взрослому, откуда на самом деле берутся дети. Я молча смотрел на нее.

В бездонной глубине черных глаз метнулись веселые искорки.

Я продолжал молчать.

Стелла прыснула, сдержалась, пытаясь оставаться серьезной, затем фыркнула, а потом звонко и заразительно расхохоталась, запрокинув голову.

– Ну и лицо у тебя было, ты бы видел! – хохотала она. – Ты же поверил, да? Ну признайся, поверил?

– Нет.

– Врешь, врешь! Хоть на секундочку, а поверил, я видела!

Она отсмеялась, посерьезнела и сказала:

– Ладно, это шутка была. Я шеда, конечно. И вот тебе правда: люди не являются объектом Эксперимента. Вы просто лабораторные материалы, условия задачи, которую решаем мы и элохимы, соревнуясь, кто быстрее и точнее справится. Контур, Полигон, Сфера – все это сделано, чтобы

испытать нас, а не вас. И когда все закончится, то вас всех просто сотрут с доски без следа, как решенное уравнение. Нравится такая правда?

Лицо ее вдруг стало жестким, глаза сузились, и она стала похожа на злую королеву-колдунью, которой надоело прикидываться Белоснежкой.

– Что, не очень? Ладно, тогда еще одна правда: Эксперимент уже завершился. Сто сорок четыре тысячи праведников отправились за пределы Контура – или нет, или просто Ветхий Днями убедился, что сама идея создания во всем подобных Ему сущностей была ошибкой. Решение принято, Апокалипсис состоялся, просто вы этого еще не заметили из-за физических особенностей времени. Ведь вне Контура времени нет, для Ветхого Днями не существует ни прошлого, ни будущего, для Него все – один миг, в который уместается история Мира от Большого взрыва до будущего, отдаленного от дня сегодняшнего настолько, сколько осталось еще существовать Вселенной. Не имеет значения, когда по местному времени Он принял такое решение: сто лет назад, пятьсот или тысячу – важно только, что вся история последних веков человечества это неуловимый миг между щелчком выключателя и моментом, когда погаснет свет.

– Не верю.

– Что так? – удивилась Стелла. – Почему же? Не хочется признавать абсолютную бессмысленность собственного бытия? А придется. Давай-ка я помогу: залезу тебе в мозги, как сделала Яна, и загружу туда любую правду, какую только захочу, и ты мне поверишь, как верит ребенок вранью взрослого человека потому только, что справедливо считает его сильнее и умнее себя самого.

Она вздохнула и махнула рукой.

– Ладно, что-то я завелась. Просто не понимаю, почему ты принял на веру все, что она тебе наговорила и вложила в голову.

“Не ей я поверил, – подумал я. – А Савве”.

– А Савва что же, не человек? – тут же отозвалась Стелла.

Я вздрогнул.

– Он, конечно, незаурядная личность, умница – но ведь тоже человек, как и ты. Это в своей математике он гений, но во всем остальном... Ты никогда не задумывался, почему Ильинский ей так верит?.. Ладно, – она хлопнула в ладоши. – От подарков ты отказываешься, но выпивкой я тебя угостить просто обязана. Приглашаю в ресторан. Заодно расскажу, как обстоят дела на самом деле. Нужно же выслушать и другую сторону, правда? А выводы сделаешь сам.

Стелла встала, я тоже. Она была высокой, почти с меня ростом, ее

темные волосы пахли морским ветром. Мы подошли к двери – самой обычной, филенчатой, покрытой облупившейся местами красно-коричневой краской.

– Слушай, мне, наверное, на людях неудобно будет показываться с такой физиономией, – вспомнил я.

Стелла фыркнула.

– Да все нормально у тебя с лицом, не переживай. Ты же не думаешь, что Боб тебя действительно бил? У тебя голова оторвалась бы, стукни он хотя бы разок по-настоящему. И потом – кто говорил о людях?..

Она толкнула дверь, распахнув ее в темноту.

\* \* \*

Я шагнул за порог и полной грудью вдохнул невский воздух. Его не спутать ни с чем: дыхание широкой реки, запах далекого моря, нутряной холод берегового гранита, уже остывшего после дневного зноя, ароматы зрелой листвы и стриженной травы на газонах. Прозрачная полуночная темнота сверкала как драгоценный камень глубокого синего цвета в оправе ночных фонарей, огней теплоходов и дальних прожекторов, преломляющихся и дрожащих в непроницаемо черной воде безмолвно широкой Невы. На другом берегу мерцал тускло подсвеченный Меншиковский дворец, правее плыла в темноте едва различимая армиллярная сфера на куполе Кунсткамеры. По набережной, подмигивая зелеными огоньками, проносились редкие таксомоторы, шуршали покрышками запоздавшие автомобили, а вдоль тротуаров, от Петровского спуска до скрытого темными кронами Медного всадника, простиравшего властительную длань над речными просторами и далеким Финским заливом, выстроились десятки экскурсионных “Икарусов”, и сотни людей неспешно гуляли или просто стояли у каменных парапетов. Отовсюду неслись голоса, смех, ритмичный гитарный звон, мелодии из транзисторов и с палуб прогулочных кораблей, и накладывались друг на друга в негромком и удивительно гармоничном созвучии.

Я обернулся, ожидая увидеть внешний контур масах, из которого мы вышли сюда, но позади была только проезжая часть, а за ней – исполинские якоря у арки Адмиралтейства.

– Передовые технологии, – подмигнула мне Стелла. – У нас с ними дела лучше, чем у элохим. Но давай поспешим, уже почти полночь!

Блузка и серая юбка исчезли; теперь на ней было светлое летнее

платье, изящное и простое, едва прикрывающее колени. Темные волосы крупными тяжелыми завитками ниспадали на плечи. Она схватила меня за руку и увлекла за собой, сквозь толпу иностранных туристов, к широким гранитным ступеням, спускающимся к самой воде.

Там чуть покачивался в такт колыханию темной воды высокий трехпалубный теплоход-ресторан, весь в золотых, красных и синих огнях, похожий на нарядно украшенную к Новому году книжную этажерку. На борту между первой и второй палубой горела пурпурная вывеска “*Невская Волна*”. В широких ярко освещенных окнах, будто в театре теней, скользили темные силуэты, с открытой верхней палубы доносились звуки музыки, голоса, звон бокалов – но никто не поднимался по спущенным на набережную простым деревянным мосткам, не нацеливал на корабль фотообъективов, даже не смотрел в его сторону, а если и касался взглядом, то словно бы не замечал вовсе.

Стелла ловко взбежала по шатким сходням и помахала рукой рыжему коренастому матросу со шкиперской бородкой, который уже собирался снимать швартовы с чугунного кнехта.

– Уф, успели! Привет, Илий! Все в порядке, это со мной!

И, повернувшись ко мне, сделала приглашающий жест:

– Добро пожаловать на борт “*Невской Волны*”!

Матрос покосился на меня неодобрительно и принялся молча убирать сходни.

Желтоватые перила внутреннего трапа блестели, отполированные тысячами прикосновений, а сам он был таким крутым, что не менее крутые бедра Стеллы оказались прямо перед моим носом, вызываяще вздрагивая и колыхаясь в такт ее шагам по ступенькам. Я старался не глазеть и смотреть под ноги, карабкаясь следом. В уютном полумраке салона второй палубы большинство столов пустовало, только несколько неясных фигур склонились друг к другу в беседе, да необыкновенно высокая и очень худая официантка шла по проходу, бережно неся на ладони поднос с одиноким бокалом вина и покачиваясь, будто флагшток на ветру, увенчанный копной каштановых волос с крошечной кружевной наколкой. Мы миновали узкую площадку трапа и вышли на верхнюю палубу как раз в тот момент, когда теплоход, слегка дрогнув, отчалил от набережной.

На невысокой полукруглой эстраде пятерка музыкантов в белоснежных костюмах играла неспешный, задумчивый джаз; несколько танцующих пар покачивались в ритме мелодии на площадке меж маленьких круглых столов, на которых светились красноватые и желтые абажуры. На хрустале, серебре и стекле мерцали, дрожа и подмигивая,

отражения огней разноцветных гирлянд, обвивавших перила бортов. Справа от входа, будто раскрытый волшебный сундук, сверкала невиданным великолепием барная стойка, и седоусый почтенный бармен в широком галстуке, жилетке и нарукавниках чинно протирали безукоризненно прозрачный бокал. Легкий речной ветерок разносил ароматы духов и сладковатого табачного дыма. Я был как мальчик, проснувшийся поздней ночью и спустившийся в гостиную, где взрослые празднуют Новый год, и среди безупречных летних костюмов, простого изящества платьев, белозубых улыбок и модных причесок почувствовал себя безбилетником, нехоти пробравшимся сюда всклокоченным, в мешковатых штанах и драной рубашке, в которой разгуливал уже несколько дней, продираясь через кусты и падая на гравий. Впрочем, присмотревшись, я увидел за столиками и персонажей попроще: невзрачного вида мужчина в помятом сером пиджаке сидел, пригорюнившись, и гипнотизировал запотевший графинчик водки, да женщина неопределенного возраста с неряшливо покрашенными хной волосами нервно озиралась кругом, теребя за ножку широкий винный бокал. Но в целом, публика собралась дорогая, и даже двое разнополых хиппи, оживленно обсуждавших что-то за столиком рядом с баром, выглядели как-то по-заграничному, разительно отличаясь новенькими фирменными джинсами, кроссовками Adidas и чистыми волосами от наших пропитанных портвейном и коноплей полубезумных немых завсегдатаев “Сайгона” и “Эльфа”. У самой сцены за столиком в одиночестве сидела прямая, как партийная директива, старуха в черном платье с жесткими, загнутыми вверх широкими плечиками, и кормила мороженым с ложечки огромного мраморного дога.

Мы присели на высокие барные стулья у стойки.

– Предлагаю выпить шампанского! – провозгласила Стелла. – Не возражаешь?

Шампанское я не любил и сейчас предпочел бы чего-то покрепче, но согласился и не пожалел: искрящийся живым золотом прохладный напиток, который бармен ловко разлил из открытой с деликатным хлопком пузатой бутылки, ничем не напоминал газированную дрожжевую кислятину, полагающуюся к употреблению под бой Кремлевских курантов. Капли влаги дрожали на зеленом бутылочном стекле и блестящих стенках ведерка со льдом. Мы выпили и некоторое время молчали, а потом я спросил:

– Что это за место?

– Нейтральная территория. Между прочим, очень сложная в инженерном плане конструкция – передвижной участок масах,

интегрированный в пространство низшего измерения. Даже “Нибиру” у элохим и то зафиксирован в определенной точке небесной сферы, а “Невская Волна” передвигается – правда, только по строго заданному маршруту и в определенное время, с полуночи до четырех утра. Тут, конечно, все больше наши собираются, но и технари приходят часто, и элохимы: ничего, общаемся, иногда приятельствуем даже. До такого безобразия, какое Яна устроила, все же редко доходит, чтобы истреблять спящих агентов или драться в парадных, как пьяницы. Здесь место для отдыха и приятного времяпрепровождения тех, кто долго работает в квазиматериальной или физической форме и привязан по долгу службы к реальности Полигона. Вот как я в последнее время, например. И тебе, кстати, обязана несколькими лишними днями!

Она шутливо погрозила пальцем.

– Извини, – ответил я. – Яна говорила, что это прямо мука мученическая. Как слепая черепаха в смирительной рубашке, что-то вроде того.

Стелла махнула рукой.

– Ворчливая брюзга эта твоя Яна. Да собственно, почти все элохимы такие: то не так, это не этак, Полигон плох, работа тяжелая, люди не слушаются, шефы мешают, домой хочется... Нытики. Нужно уметь наслаждаться моментом, вот что я думаю. Долго здесь находиться действительно надоедает, но наведаться сюда время от времени я люблю: еда ваша нравится – мороженое особенно! – пирожные разные, конфеты с орешками, клубника, вино, шампанское. И тело человеческое нравится очень! – она с силой провела ладонями по груди и бедрам, выгнувшись, как довольная кошка. – И женское, и мужское, хотя женское больше, конечно. Столько удовольствий, особенно если немного модифицировать! И воздух здешний люблю – когда весеннее утро, или осенью после дождя, или когда сильный мороз и снег пахнет арбузом, или вот как сейчас, на реке... Да ты сам посмотри вокруг, красота же!

Чуть позади на Стрелке призрачным белым светилась колоннада старой Биржи и вздымались увенчанные огнями ростральные колонны; налево темнели приземистые бастионы Петропавловской крепости, и золотой ангел на шпиле собора слал привет своему каменному собрату на Александрийском столпе, невидимому сейчас за изумрудным фасадом Зимнего дворца; фонари на мостах вытянулись в светящиеся пунктирные нити, будто пронизанные утренним солнцем капли росы на невидимой паутине. Теплоход завис в пустоте, выйдя на самую широкую часть Невы, и сверху была черная бездна со звездами, под нами едва колыхались

непроницаемо темные воды, и город казался тонким каменным окоемом вокруг бездонных древних глубин, почти невидимой гранью между одинаково чуждыми, вечными и бесконечно холодными дольным и горным мирами.

– Как это можно не любить! – воскликнула Стелла и вздохнула. – Даже жаль, что всему скоро конец.

– Который ты, насколько я знаю, как раз и стремишься приблизить.

– Вообще-то под “скоро” я имела ввиду еще лет сто или даже чуть больше, если по консервативной оценке. И то, что вы сами, без всякой сторонней помощи, все и угробите. Но если ты продолжаешь считать, что я сплю и вижу, как бы спровоцировать вас на забрасывание друг друга ядерными ракетами, то самое время об этом поговорить. Тем более, я сама предлагала возможность выслушать другую сторону. Ты же не возражаешь?

Я не возражал.

– Вот и прекрасно! Тогда никаких частных мнений, новелл и теорий. Только факты и логика. А выводы сам сделаешь, я надеюсь.

Музыка стихла: оркестр сделал перерыв. Барабанщик положил палочки на том-том и курил, пуская туманные кольца. Старуха в черном закончила кормить дога мороженым и пила кофе из крошечной чашечки, держа ее костлявыми пальцами, обтянутыми ярко-желтой перчаткой из органзы. Бармен ловко долил наши бокалы и втиснул бутылку обратно, в грудку подтаявших кубиков льда.

– Итак, начнем сначала. По словам Яны выходит, что она случайно подсказала Ильинскому решение уравнения универсальной бинарной волны, при этом совершенно не думая о последствиях. Отмечу, что без ее помощи решение такого типа задачи миллион Ильинских искали бы десять миллионов лет, хотя дело не в этом, а в том, что Яна кто угодно, но только не дура. Я, например, считаю ее жеманной беспринципной вралью, но в уме и профессионализме ей отказать невозможно. Тебе же предлагается верить, что элохим, эксперт по человеческой цивилизации с опытом в десять тысяч лет, не потрудились узнать, над чем именно работает Савва, не оценила рисков вмешательства, и хотя бы на уровне здравого смысла не сложила два и два, чтобы понять, чем может обернуться помощь в работе специалиста военного научно-исследовательского института. Похоже, она не слишком высокого мнения о твоих интеллектуальных способностях.

Я хотел ответить, но Стелла подняла ладонь и сказала:

– Продолжим. Яна заявила, что появилась в лаборатории у Ильинского сразу же, как только Сфера вероятности выдала катастрофический

сценарий, и решила вмешаться, чтобы эту катастрофу предотвратить. Вопрос: почему тогда одновременно с ней туда не ввалились мы с Бобом? Ты знаешь, что информация Сферы одинаково доступна и элохимам, и нам, аналитики у нас работают одного уровня, к тому же, чтобы увидеть ближайшую фатальную перспективу и аналитиком быть не нужно. Почему мы не попытались немедленно взять ситуацию под контроль, чтобы не допустить к Ильинскому элохим, а сидели сиднями больше суток? Ответ очевиден: потому что на тот момент, как Яна театрально явилась перед несчастным Саввой, никакого ядерного катаклизма в сценариях Сферы не было. Он появился только тогда, когда она убедила Ильинского бежать за границу – и вот тут да, тут вероятность атомной войны подскочила в разы, и мы вмешались, но, к сожалению, опоздали. Понимаешь, о чем я?..

Я молчал. Стелла приподняла бокал, прищурилась и посмотрела на меня сквозь искристое золото.

– Не хочешь понимать, – сделала она вывод. – Не в состоянии отказаться от бинарной оппозиции добра и зла, где твоя драгоценная Яна – это добро, а я, соответственно, зло, чудище и людоед, поэтому и предположить не можешь, что это именно она, Ишим Йанай Элохим Меген, стремится втравить человечество в последнюю самоистребительную войну, а отнюдь не я, скромная шеда мадиах. И это не твоя вина, это вообще присуще каждому человеку: принимать собственное благо за абсолютную точку отсчета, относительно которой определяется добро и зло, а потому добро для вас это жизнь, здоровье, богатство и счастье, а зло – нечто прямо противоположное, болезни, война, насилие, бедность, смерть. Убери из системы координат человека, и с точки зрения вечности добро и зло станут абсолютной условностью. Но если продолжать считать частное благополучие человека критерием для определения зла и добра, то добрее меня во всем мире никого не сыскать, уж поверь.

Я сидел и рассматривал публику. Нервная женщина с бокалом вина под села за столик к одинокому мужчине в сером пиджаке. Они молчали и на лицах обоих было то мучительно неловкое выражение, когда два одиноких человека стараются придумать тему для разговора.

– Я уже говорила, что вы – раса войны, люди кризиса, – продолжала Стелла. – В этом ваша слабость – и ваша сила. Вы неустойчивы, непредсказуемы, с трудом управляемы, агрессивны – но именно в кризисных ситуациях проявляете свои самые лучшие качества, как раз те, которые являются ключевыми критериями для прохождения Испытания. Безусловно, бедствия, катастрофы и, в особенности, война сопровождаются проявлениями крайнего ожесточения и невероятными зверствами; вы

способны творить друг с другом такое, что даже мне порой смотреть тошно – а я повидала виды, будь уверен. Но есть еще и статистика. Дело в том, что совершенными чудовищами в критических условиях становятся те, кто и в обыденной жизни, прямо скажем, высокой нравственностью не отличался – просто катастрофы и войны дают им повод распоясаться окончательно. Основная же человеческая масса в состоянии покоя не проявляет себя ни преступно, ни героически: живет себе человек, средне так, обычно, как все – родился, учился, женился, трудился, лечился, помер. И так по кругу. Но случись вдруг беде, и тот же самый человек, самый обыкновенный, с высокой долей вероятности становится не просто героем – подвижником: спасает товарищей, не щадя своей жизни; бросается в бурный поток, рискуя собой, на выручку утопающим; детишек несет из огня, ложится на пулемет, делится последним куском, когда сам голодает, и все прочее в таком духе. И чем страшнее беда, тем таких людей больше – и силу, приобретенную в преодолении кошмаров битв или катастроф, они сохраняют на всю свою жизнь. На тех, кто достойно прошел последнюю мировую войну, даже у нас нет никаких средств воздействия, бесполезно. Их воля выкована из оружейной стали и закалена кровью и потом. Вот почему, друг мой Витя, нам бедствия и военные катаклизмы без надобности. Я вовсе не хочу, чтобы вы страдали и бедствовали; напротив, для меня лучше, чтобы вы были благополучны, чтобы стремились к благополучию, чтобы оно стало основной вашей жизненной целью; я хочу, чтобы людям не нужно было по-настоящему бороться за жизнь, принимать непростые решения, делать выбор, чтобы у вас было как можно больше времени на удовольствия и развлечения, потому что общая беда вас сближает и делает лучше, а маленькое частное благополучие творит завистников, праздных злопыхателей и эгоистов.

Мужчина в сером хлопнул рюмку для храбрости и принялся рассказывать анекдот. Женщина слушала и невесело, натужно смеялась.

– Здесь нет ничего личного, Витя. Я не испытываю какой-то ненависти к роду человеческому. Некоторые мне даже симпатичны – вот ты, например. Просто я действительно считаю этот проект...ну, как бы сказать корректно...сырым, пусть будет так. Понятно, что Ветхий Днями не ошибается, но в данном случае мне очевидно, что для соответствия заданным критериям Эксперимента вас нужно постоянно держать в кризисном тоне – да вы и сами об этом догадываетесь, и почти тысячу лет самые волевые и сильные из вас ради того, чтобы вырваться из круга смертей и рождений, с готовностью ложились под меч, шли в огонь, на арену ко львам, а за неимением всего этого “зажигали беду вокруг себя”<sup>[11]</sup>

и уходили в какие-нибудь дикие пустыни и дебри, где что ни день – то борьба за физическое выживание. Но я как ученый отказываюсь принять состоятельность существей, которым для эффективности требуется постоянный стимулирующий раздражитель и которые разлагаются в состоянии покоя. Весь ход Эксперимента пока подтверждает мою правоту: количество прошедших Испытание единиц в благополучное мирное время практически сходит на нет. Еще немного – и наша точка зрения будет подтверждена опытным путем, а у элохимов уже не осталось ходов, они проигрывают в этой партии – и, естественно, готовы пойти даже на отчаянные меры: например, ахнуть по человечеству последней, смертоносной войной, надеясь, что резкое сокращение количества приведет к росту качества. Рискованный ход, да и запрещенный со времен Потопа к тому же, но иначе они обречены на поражение. Так что твоя маленькая подруга Яна вовсе не старается спасти человечество от ядерного пожара: она как раз тащит Савву туда, где решение о нанесении первого удара примут куда скорее и проще, чем здесь. Это как вложить зажигалку в ладонь пироману, у которого руки чешутся, и указать на фитиль к цистерне с бензином. Она сама придумала эту комбинацию и теперь стремится разыграть ее до конца.

Стелла положила узкую ладонь на барную стойку и подвинула что-то к моему бокалу. Я посмотрел: это был значок с изображением олимпийского волчонка. Рубиновый глаз его сейчас был темен и пуст.

– Вот, держи. Когда выйдешь отсюда, можешь снова активировать и продолжать от меня прятаться – я не обижусь. Правда. Можешь даже продолжать помогать Яне переправить Ильинского за океан, если я тебя не убедила. Но я бы хотела, чтобы ты подумал и принял решение, очень простое и единственно правильное в твоей ситуации.

– Это какое же? – поинтересовался я.

– Сделать, что должен. После вашей вылазки в Светогорск положение твое, Витя, прямо скажем, незавидное. Так что самым разумным будет вспомнить, что ты капитан уголовного розыска, гражданин, в конце концов – и просто передать Ильинского, когда его снова встретишь, соответствующим компетентным органам. Начальству скажешь, что пропал, потому что взял след беглецов и хотел завершить операцию в одиночку – а победителей не судят. Никаких претензий к тебе никто предъявлять не будет, наоборот, станешь героем: звание, премия, все дела. Можешь даже считать себя спасителем человечества, предотвратившим ядерную войну. И все – живи спокойно, счастливо, как нормальный человек. Кстати, со своей стороны могу обещать, что никто из наших ни к

тебе, ни к твоей семье даже не приблизится, разве что для того, чтобы помочь немного, если понадобится. Поверь, я умею быть благодарной.

– А что дальше?

– А дальше ты проживешь хорошую, мирную жизнь и тихо умрешь. Как и все. И после этого тебе будет уже все равно, потому что, будем откровенны, хоть ты и славный парень, но шансов на успешное прохождение Испытания у тебя не так, чтобы очень много – это я тебе как мадиах с тысячелетним стажем говорю. Твоя личность будет отформатирована и собрана заново, после чего начнется уже совсем другая история.

– Звучит как-то невесело.

– На самом деле, это очень хорошо звучит, Витя. Сколько тебе сейчас, тридцать? Значит, впереди еще лет сорок, это почти пятнадцать тысяч закатов и рассветов, подумай! Если повезет, сохранишь до пятидесяти лет волосы, до шестидесяти – потенцию, и в здравом уме перейдешь в мир иной. Чем плохо? Если глупостей не творить, не лезть не в свое дело, не пытаться геройствовать, то можно очень комфортно провести эти годы. Что говорить: даже из наших некоторые уходят в люди, чтобы пожить жизнь – другую – ты же слышал о ванадах? Цени то, что есть, Витя. Поверь, это немало.

– Надеюсь, мне не нужно давать какой-то ответ прямо сейчас?

– Нет, ну что ты! Но если решишься на что-то, дай знать.

– Если решусь, то как мне с тобой связаться?

– Ты знаешь мое имя, – серьезно ответила Стелла. – А значит, можешь позвать. Достаточно будет использовать любое передающее устройство, хоть телефон, хоть транзистор. Ну, или еще чертыхнуться можно: рядом сразу появится один из наших автономных модулей слежения и мне передадут, что ты меня вызвал.

Я взял со стойки значок и молча приколот его на рубашку.

– Ну все, хватит о делах! – Стелла соскочила с барного стула и потянула меня за руку. – Не так часто я тут бываю, чтобы тратить прекрасную ночь на разговоры! Пойдем танцевать!

Оркестр заиграл снова, и теперь к нему присоединилась певица в длинном огненно-алом платье, обтягивающем и блестящем, как рыбная чешуя. Она запела, и песня эта была одновременно прекрасной и грустной, как воспоминание о давно прошедших, счастливейших днях, которые больше не повторятся, сколько бы рассветов и закатов ты еще не увидел. Мы медленно кружились по палубе в такт музыке, движению звезд и легкому шепоту волн. Стелла прижималась ко мне, чуть откинув назад

голову и прикрыв глаза, и тело ее под тонкой ситцевой тканью было упругим и совсем по-человечески теплым, а пальцы в моей ладони ледяными, как смерть.

Мы потанцевали, допили шампанское, а потом спустились вниз и через салон прошли на небольшую открытую палубу на носу корабля. Здесь стояли два низких кресла и маленький столик. Стелла взяла мороженого, а я все-таки прихватил для себя порцию “Курвуазье”, и мы молча сидели, глядя на набережные и устремленные в звездное небо раскрывшиеся мосты. Было очень хорошо сидеть вот так, смотреть в ночь, пить маленькими глоточками восхитительный коньяк, молчать о своем, и я не знаю, о чем размышляла Стелла – может быть, об Эксперименте, или о Мире за пределами Контура, или вообще не думала ни о чем, а просто наслаждалась мороженым и прогулкой – но мои раздумья были не радостны.

Я вспоминал, сколько подозрительных несостыковок заметил в рассказе Яны еще в тот вечер, когда они с Саввой незваными гостями заявили ко мне домой, как отнес тогда их на невозможность понять человеческим разумом мотивы и побуждения неземного рассудка – и вот, теперь, после разговора со Стеллой все, казалось бы, встало на свои места – и в то же время перевернулось с ног на голову. Потом я подумал, что нет ничего проще, чем заставить поверить во что угодно того, кого сначала беспощадно пытаешь, а потом извиняешься за ошибку и вознаграждаешь страдания кажущейся откровенностью. Вспомнил Савву: неужели он не заметил, не задался вопросами, а просто так взял и поверил? – и у меня не было иного ответа, кроме слов “Он, конечно, незаурядная личность, умница – но ведь тоже человек, как и ты”.

Я с детства знал, за кого воевать: за наших против немцев, за красных против белых, за честных граждан против преступников. Сейчас, вне человеческого измерения, все запуталось, но ясно было одно: я оказался в центре противостояния двух невероятно могущественных и непостижимых сил, чьи мотивы мне неясны, намерения неизвестны, и каждая из которых с легкостью использует ложь как оружие в противоборстве друг с другом. Я не верил Яне – собственно, до конца я никогда ей не доверял, но не мог поверить и Иф Штеллай, потому что просто в силу своей человеческой природы не в состоянии был отличить махровое жульническое вранье элохимов и шедов от правды и сомневался уже, существует ли такая правда вообще. Так бывает, когда, усомнившись в друге, ты идешь за истиной к его врагу – но и тому не можешь довериться, потому что он враг, а значит, пристрастен, и цепочка сомнения и подозрений замыкается в круг, и в этом

круге ты оказываешься совершенно один.

Я молчал, пил коньяк, смотрел на изнанку разведенных мостов, на то, как пустеют постепенно людные набережные, как гаснут на улицах фонари и окна далеких домов – сидел, стараясь почувствовать каждую минуту из тех, что остались мне до момента, когда нужно будет возвращаться и решать, что делать дальше.

“Невская Волна” причалила у пристани Петровского спуска без трех минут четыре утра. Скоро Мелех в своей башне, озаренной угрюмыми темно-багровыми молотом и серпом, нажмет на приводящие рычаги механизмов Вселенной и обновит реальность. Корабль мягко ткнулся в гранит резиновыми покрывками на борту, рыжий матрос перепрыгнул через леер и ловко накинул толстую канатную петлю на отполированный кнехт. Громко стукнули деревянные сходни.

– Спасибо за прекрасный вечер, Витя, – сказала Стелла, легко поцеловала меня в щеку, чуть отстранилась и деловито потерла отпечаток помады, размазав ее по щетине. – Колючий какой, тебе нужно побриться. Ну что же, до встречи?

– До свидания, – ответил я, чуть подумав. – Будем на связи.

Я сошел с трапа и обернулся.

Корабль исчез – ни огней, ни музыки, ни даже тени, только в неподвижном предутреннем воздухе повис странный отзвук, как будто лопнула толстая стальная струна, да масляно-черная густая волна плеснула прощально о камень.

## Глава 12

### Задача пяти тел

Первым делом я активировал защитный значок. Олимпийский волчонок ободряюще подмигнул красным глазом. Как бы там ни было, я не хотел пока, чтобы меня могли обнаружить ни Стелла, ни Яна. Нужно было сначала во всем разобраться.

Я присел на гранитный парапет набережной, вытащил из смятой пачки последнюю сигарету и с удовольствием закурил. Все вокруг было темно, пусто, недвижно, словно декорация в ночном театре, ожидающая появления актеров и зрителей, и похоже, что в предстоящем спектакле мне отводилась роль марионетки, ниточки от которой рвут друг у друга из рук повздорившие кукловоды.

Но это мы еще поглядим. Может, я и стойкий солдатик, но не такой уж и оловянный.

Я выбросил окурок в воду, перешел проезжую часть и направился в сторону улицы Красной, чье устье чернело под полукружием арки меж торжественных бело-желтых фасадов бывших Сената с Синодом, похожих, как близнецы.

На вчерашнем номере “Вечернего Ленинграда”, приклеенном на газетном стенде, значилась дата: 28 августа, вторник. Ночь в закулисье обернулась четырьмя днями снаружи, и оставалось только догадываться, что могло случиться здесь за это время.

Рядом со стендом прислонилась к стене покосившаяся телефонная будка. Я вытащил из кармана брюк кошелек; в нем позвякивало немного мелочи, среди которой нашлись двухкопеечные монеты. Я вошел в будку и набрал свой домашний номер.

Папа снял трубку после второго гудка – знак тревоги, когда человек и в пятом часу утра спит вполглаза, поставив телефон рядом с кроватью.

– Я слушаю.

– Папа, – сказал я.

В трубке немедленно щелкнуло.

Отец откашлялся и ответил:

– Сынок.

– Папа, я в порядке. Прости, что пропал – были свои обстоятельства...

– Понимаю.

Отец помолчал, видимо, подбирая слова, и произнес:

– У нас все хорошо. Мама волновалась очень, но позвонил твой начальник, полковник Макаров, и сказал ей, что ты на специальном задании. Успокоил немного.

“Спасибо тебе, Иван Юрьевич, – подумал я. – Человек”.

– Очень поддерживают товарищи из госбезопасности, – продолжал отец. – Заботятся о нас, присматривают, вот, дежурство в парадной установили, чтобы нам было спокойнее. До работы провожают. Как бы мы без них справились, даже не знаю.

– Я понял, папа. Спасибо.

– Да не за что, сын. Ты береги себя.

– Обязательно буду. Все, пап, мне пора. Маме привет передай и скажи, что я скоро вернусь.

Я повесил трубку. Весь разговор занял едва ли минуту, но рисковать не хотелось. Нужно было найти другой телефон, хотя, если заботливые товарищи из госбезопасности успели определить адрес, то очень скоро будет перекрыт весь квартал и уйти от преследования на пустынных утренних улицах мне не удастся.

У меня были удостоверение сотрудника уголовного розыска и надежда, что мою физиономию еще не расклеили на каждом углу под заголовком “РАЗЫСКИВАЕТСЯ”. Идея ломиться под утро в двери коммунальных квартир с требованием дать позвонить была так себе, но другой альтернативы заячьей пробежке по проспектам и переулкам в поисках телефонной будки я не видел.

Мне повезло: в тесном, как печная труба, и таком же закопченном дворе дома в боковом переулке я увидел вход в кочегарку. Из открывшейся в ответ на настойчивый стук двери пахнуло удушливым паром, съестной вонью и копотью.

– Уголовный розыск, – я ткнул перед собой раскрытым удостоверением. – Необходимо воспользоваться телефоном.

Долговязый худой истопник с жидкой китайской бородкой и длинными выщипанными волосами, подвязанными узкой тесемкой, равнодушно кивнул, прошел внутрь и показал пальцем:

– Вон там.

Котельная была из старых, тех, что первыми пришли на смену дровяным печкам в квартирах. От угольной топки исходил вязкий жар, под узким окном расположился топчан с засаленным солдатским одеялом; на столе, среди культурных напластований, оставленных несколькими поколениями кочегаров, примостился громоздкий телефонный аппарат старого образца с буквами на диске набора. Я подвинул ногой шаткую

табуретку, присел и снял трубку.

В квартире на Лесном никто не отвечал. Я дал гудков десять, нажал на рычаги, позвонил снова – безрезультатно. Это могло означать, что дела совсем плохи – или что кто-то просто отключил телефон на ночь, но я не стал терзаться догадками: нужно было выяснить многое, а время поджимало.

Косте Золотухину дозвониться тоже не получилось. Я подумал немного, полистал записную книжку и набрал домашний номер Леночки Смерть. Бог весть, как он у меня оказался, но звонить по нему мне не доводилось ни разу.

– Общежитие! – недовольно продребезжал старушечий голос на другом конце провода.

– Пожалуйста, Сидорову Елену, – попросил я. – Это срочно.

Я был готов к возмущению или вопросам, но их не последовало: видимо, на вахте привыкли, что Леночке по делам службы то и дело звонят в неурочное время. Трубка громыхнула о стол, послышались шаркающие шаги и все стихло. Шли минуты. Я покосился на истопника: тот растянулся на топчане, закинув ноги на низкую спинку и держа перед собой книжку в строгом академическом переплете. Заглавия я не разглядел.

Тишина в телефонной трубке ожила, послышались шаги, кто-то споткнулся, зашипел, выругался, и наконец я услышал сиплый спросонья голос:

– Сидорова.

– Лена, привет, – сказал я.

– Адамов! – закричала она и замолчала.

Снова наступила тишина.

– Алё! – позвал я. – Алё!

В трубке всхлипнуло.

– Лена! Ты меня слышишь?

– Адамов, – выдохнула она. – Ты живой вообще?!

– Вполне, просто...Я немного выпал на время из жизни.

– Да что у тебя там творится?! Где ты, что с тобой?!

Щелчков не было слышно, но я на всякий случай спросил:

– Лена, а мы сейчас одни?

– Что? Да, то есть нет, в смысле, тут Сталина Тихоновна только, но она отошла...А! Ты про это! Нет, общагу не слушают, только мой рабочий зачем-то...Адамов, тут из-за тебя такое творится!..

Таинственное исчезновение капитана уголовного розыска Адамова стало главной новостью в ГУВД. Людям вообще нравится рассказывать

друг другу истории, в которых кто-то знакомый как следует оскандалился, и предвкушать, как потом оскандалившемуся нагорит. Недостатка в материале не было: не успели еще в курилках, столовой и коридорах в подробностях обсудить события эпической “битвы при Кракенгагене”, в которой тот же пресловутый Адамов был главным действующим лицом, как вот тебе раз: теперь он еще и пропал без всяких объяснительных оправданий. Неформальные разговоры вначале носили в основном юмористический характер и строились вокруг версии, что злосчастный капитан просто запил горькую после катастрофического провала инициированной им операции, поминая в качестве дополнительных аргументов в пользу такого предположения личную драму с покинувшей его накануне свадьбы невестой и совершенно безрезультатную работу по делу “вежливых людей”. В официальных же кабинетах обстановка стремительно накалялась; может быть, в обычной ситуации полковнику Макарову удалось бы на некоторое время замять дело, но докладов и объяснений в связи с событиями на канале Круштейна ждали на самом высоком уровне и самым же решительным образом требовали немедленно отыскать, доставить и покарать. Дело шло к объявлению в розыск. Примерно сутки мне подарил Костя Золотухин, в рамках народной гипотезы происходящего признавшийся с покаянным видом, что Адамов пьет у него на даче в компании сомнительного поведения девиц, и что вот прямо сейчас за ним уже едут и непременно доставят хоть тушкой, хоть чучелом. В пятницу, когда версия о загородной вакханалии лопнула, полковник Макаров, с беспримерным мужеством поставив на карту незапятнанное взысканиями личное дело – а может быть, что и звездочки на погонах – лично доложил генералу, что капитан Адамов находится в служебной командировке и в обстановке глубокой секретности, рискуя жизнью, проводит оперативные мероприятия с целью до конца разобраться во всех причинах и обстоятельствах Кракенгагенских событий.

– Понимаешь, все были уверены, что ты вот-вот явишься, – пояснила Лена. – Ну и тянули, как могли, время.

Ранним утром в субботу грянул гром. Руководство ГУВД – включая самого генерал-майора, а также начальника уголовного розыска, несчастного полковника Макарова, заместителя начальника Главка по политической работе, руководителя кадровой службы и секретаря партийной организации – было вырвано из мирного сна категорическим предписанием немедленно явиться в Управление, где их уже ожидал комитетский десант в лице товарища Жвалова и двух десятков оперативников госбезопасности. Разъяренно дребезжали телефонные

трели, в кабинетах на повышенных тонах задавали вопросы, по ковровым дорожкам обычно погруженных в почтительную тишину начальственных коридоров то и дело кто-то бежал мелкой рысью, выпучив глаза и роняя листки бумаги из толстых папок. Все зубоскальство в курилках прекратилось мгновенно, и даже самые большие любители сплетен предпочитали помалкивать, лишь сочувственно глядя на товарищей и коллег пропавшего капитана, которых постоянно вызывали на разговор то в один, то в другой кабинет.

– Ты, конечно, устроил всем веселую жизнь, что и говорить, – рассказывала Леночка. – Пукконена, Белова, Гвичию, Шамранского, Бодровых почти сутки держали на Литейном, домой к ним приходили, родственников допрашивали. По Золотухину служебную проверку инициировали, чуть ли не дело заводят собираются. Ребят Зубровина вызывали. Даже нас с Левиным дёрнули: спрашивали, когда познакомились с тобой, как часто общались, на какие темы, когда последний раз видели – все в таком духе. Ну, мне-то скрывать нечего, я совершенно честно сказала, что у нас отношения с тобой исключительно профессиональные, ты меня даже в кино не пригласил ни разу – от меня и отстали, подписку только взяли о неразглашении непонятно чего. Хоть бы объяснили, что я такое могу разгласить и кому. Но у остальных дела не очень, конечно. А твои и вовсе никуда не годятся.

Лена замолчала. Я тоже молчал, не зная, что тут можно сказать.

– Рассказать ничего не хочешь? – спросила она.

– Нет, – ответил я. – Прости. Может быть, позже.

– Ладно. Хорошо, что позвонил. Хоть знаю теперь, что ты жив. Если что, обращайся.

– Спасибо, Лена. И если что, этого разговора не было...

– Господи! – воскликнула Леночка. – Да за кого ты меня принимаешь?!

Раздался короткий грохот и в трубке зазвучали гудки.

Звонить больше было некуда, идти тоже – разве что сдать товарищу Жвалову. Впрочем, оставался еще один вариант, который с одинаковой вероятностью мог быть и выходом, и западней, но выбирать не приходилось. Я снова снял трубку, подумал, положил ее обратно на рычаги, посмотрел на истопника, устроившегося с книгой на топчане, и позвал:

– Эй! Товарищ кочегар!

Он медленно повернул голову, сонно моргнул и сообщил:

– Меня зовут Олег.

– А меня Виктор. Скажи-ка, Олег, как называется твоя книжка?

– "Бытие и время".

– То, что нужно. Будь другом, прочитай что-нибудь наугад.

Он пожал плечами, полистал и внятно прочел:

–”Человек блуждает. Человек не просто вступает на путь блужданий. Он всегда находится на пути блужданий. Путь блужданий, которым идет человек, нельзя представить себе как нечто, что просто сопровождает его, наподобие ямы, в которую он иногда попадает. Путь блуждания принадлежит к внутренней структуре, в которую вовлечен исторический человек”<sup>[12]</sup>.

– Не поспоришь, – согласился я. – А делать-то что?

Олег перелистнул еще несколько страниц и зачитал:

–”Присутствие себе самому онтически всего ближе, онтологически всего дальше, но доонтологически все же не чуждо”.

– М-да.

– Традиция гадательных практик требует довольствоваться первым полученным ответом, – заметил Олег. – Повторное вопрошание свидетельствует об отсутствии доверия и приводит к сокрытию смыслов.

– И что все это значит?

– Трудно сказать, не зная вопроса, который Вы задавали. Но если в первом ответе содержалось указание на блуждание как сущностный элемент исторического человека, думаю, это знак того, что Вам следует продолжать блуждать. Иными словами, это указание на примат действия перед бездействием.

У Олега были ярко-голубые глаза и сероватое лицо ангела с кладбищенского монумента.

– Элохим? – спросил я.

– Ну, в рамках такой терминологической парадигмы можно сказать, что все мы являемся сынами Божиими...

– Ладно, понял. Просто не похож ты на истопника, Олег.

– А Вы не очень-то похожи на милиционера.

– А на стойкого оловянного солдатика?

Трубку взяли после первого гудка.

– Вас слушают, – констатировал женский голос, безжалостный и холодный, как регистратура в поликлинике.

– Мне нужно поговорить с товарищем...эээ...Кардиналом.

– Назовите себя.

– Адамов.

В динамике что-то скрипуче запищало, на мгновение вдруг ворвался отдающийся эхом многоголосый шум, обрывки механических объявлений, тяжкий выдох локомотива – и из наступившей секунду спустя бархатной

тишины послышалось:

– Доброго утра, Виктор Геннадьевич. Признаться, уже не надеялся. Чем обязан?

Я был совершенно уверен, что Кардинал прекрасно понимает, чем он обязан моему звонку и в какой ситуации я сейчас нахожусь.

– Здравствуйте. Предлагаю встретиться. Если у Вас еще сохранился интерес к обмену информацией.

Кардинал вздохнул.

– Лучше поздно, чем никогда. Я, конечно, ждал, что Вы позвоните пораньше. Например, сразу же, как повстречали Ильинского и его спутницу, как мы и договорились. Но видно, такая уж у меня судьба: верить человеческой порядочности и постоянно обманываться. Что ж, называйте адрес.

– Адрес? – спросил я шепотом.

– Переулок Леонова<sup>[13]</sup>, дом 5, – ответил Олег.

– Переулок Леонова, дом 5, – сказал я в трубку. – Во дворе.

– Во дворе, – повторил Кардинал. – Виктор Геннадьевич, неужели обязательно было доводить дело до того, чтобы прятаться, будто мышь под печкой, в подвальной кочегарке? Ладно, это был чисто риторический вопрос. Ждите, я скоро буду.

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

**1**

Здравствуй, парень! Как дела? – Здравствуйте! Хорошо, хорошо! Как Ваши дела? (груз.)

Тетраморф – в иудео-христианской традиции крылатое существо из видения пророка Иезекииля, имеющее четыре лика: человека, льва, быка и орла.

Отсылка к описанию Меркавы, колесницы тетраморфа. Отдельно образ унизанного глазами колеса встречается также в каббалистической и европейской оккультных традициях.

Плейстоцен – эпоха четвертичного периода, начавшаяся примерно 2,5 миллиона лет назад и завершившаяся около 12 тысяч лет назад, сменившись голоценовой.

Юваль Ной Харари “Homo Deus”

Десять дуотригинтиллионов или десять седециллиардов – число, в десятичной системе счисления изображаемое единицей со ста нулями. Другое название – гугол. Это число больше, чем количество атомов в известной нам части Вселенной.

*Атабой, биджо* (груз.) – молодец, парень!

*“Тбилисо, мзис да вардебис мхарео”* (груз.) – “Солнца край, полный роз – Тбилиси!”, первая строка песни “Тбилисо”, одной из самых популярных грузинских песен, неофициального гимна одноименного города.

Бассейны Ньютона – разновидность алгебраических фракталов.

Гойко Митич – популярный в СССР югославский актер, известный по главным ролям в фильмах ”Сыновья Большой Медведицы”, ”Чингачгук – Большой Змей”, ”Оцеола” и др.

*”Зажечь беду вокруг себя” – выражение из писем свт. Феофана Затворника, относящееся к поучениям о постоянной молитве.*

*Цитата из книги "Бытие и время" Мартина Хайдеггера, немецкого философа, основателя лингвистической философии.*

Переулок Леонова – ныне Замятин переулок в Санкт-Петербурге.